

РОМАН МИХАЙЛОВ

АНТИРАВИНАГАР

Публикуется в авторской редакции



Рисунки Джангира Сулейманова

КРОТ
2020

Весной и летом 89-го по радио шел сериал с непонятным названием «Антиравинагар». Серии начинались около трех ночи, чуть раньше. Сначала появлялась электронная музыка, строгий мужской голос объявлял «Антиравинагар, серия...», и дальше, под шипения, звон, постукивания, заводские шумы, разные голоса рассказывали истории, а иногда и не истории, а неведь что. Про птиц, колдунов, гадания, ритуалы. О прошлом и будущем, даже с упоминанием конкретных дат. Они шли каждую ночь. Могли растягиваться на двадцать минут, сильно разбавляясь музыкой, или заканчиваться минут за пять-десять.

У моего соседа А. был двухкассетный заграничный магнитофон, он когда-то работал в порту и там выменял его у таможенников. Непонятно зачем он стал записывать сериал на кассеты, стирая при этом любимую музыку — в основном итальянскую эстраду. Каждую ночь он застывал, неподвижно слушал, а когда серия заканчивалась, выключал запись и засыпал. Говорил, что уже настолько привык, что не представляет, как будет засыпать, когда этот сериал пройдет. Может, его заново начнут транслировать, все равно уже никто не помнит, что было в первых сериях. А еще ему иногда казалось, что все это организовали бывшие сослуживцы по пограничным войскам со своими женами, они каким-то образом выпали в прослойку «между стекол окна» и нашептывают оттуда колыбельные. Потому что там прозвучала пара его личных историй, а никому кроме армейских товарищей он их не рассказывал.

Название, скажем прямо, не очень. Кого ни спрашивал, что оно означает, никто не понимал. «Анти» — это «про-

тив» по идее, или «вместо». А что такое «равинагар»? Лучше было бы назвать это... да как-угодно. Но не сказать, что оно какое-то безвкусное, скорее отталкивающее. Тебе сразу намекают, что речь пойдет о чем-то непонятном, а у всех хватает своего непонятного, кому надо тратить время на чужое. Я бы назвал это как-нибудь отвлеченно, типа «Тело памяти», «Городское зрение», «Песни о весне». Да, песни о весне — ни к чему не обязывает и не отталкивает. Или «Несолнечный город».

Часто повествование велось от первого лица. Этот «я» рассказывал о своей жизни, взаимоотношениях, ощущениях. Я слушал и не понимал, хочу ли побывать на его месте, конечно, по-своему, не точь-в-точь, но в целом. Если бы дали возможность прожить большую часть жизни похожей по общему настроению на то, что он рассказывает. И рассказывает ли он о своей жизни или пересказывает то, что слышал от кого-то еще, и одно ли там это «я»?

Ну хорошо, а если не примерять это «я» на себя, а смотреть на описываемый окружающий мир — хотел бы, чтобы так стало? Дело не в желании. Кажется ли интересной та реальность? Скорее да. Если бы я там жил, то явно действовал бы по-другому, обращал бы внимание на другие вещи. Хотя, кто знает, может и именно так. Там вскользь упоминались какие-то криминальные темы, эпидемии — может ради художественности, как литературный прием, яркий фон или даже метафора. Вряд ли это такое уж реальное.

Сколько там было персонажей? Несколько десятков, наверное. И казалось, что они переходят друг в друга, автор

сознательно меняет по ходу повествования их имена, они то скрываются, то появляются снова. Разные люди-сверчки, птицы, зависающие в световых столпах, наблюдатели, привязанные к батареям, темные программисты, пожарники, наслаждающиеся горящим лесом, кого там только не было. И весь этот дикий универсум представлялся малоподвижным. Складывалось впечатление, что все делают ходы по очереди. Когда кто-то перемещался, остальные, замерев, пристально за ним наблюдали. Чтобы не потревожить или не напугать. Как будто все действие происходило внутри сложной настольной игры с неизвестными правилами.

Повествование иногда шло монолитными блоками, плавно втягивая внимание, а иногда рассыпалось — резко крошилось. Словно рассказчик погружался в нервную усталость, его замещали другие люди, или не люди, и они, перебивая друг друга, продолжали серию.

Как-то раз мне удалось выпросить у соседа кассеты — их скопилось немало. Решил переписать то, что там рассказывалось, в тетради, чтобы не потерялось. Пусть будет. На всякий случай. Кассеты могут повредиться, да и читать привычнее, чем слушать, перелистывать страницы легче, чем перематывать пленку.

Сколько всего было серий? Не знаю. Скорее всего, А. начал слушать и тем более записывать их не с самого начала, а спустя пару месяцев у него закончились кассеты, покупать новые он не стал.

Не буду больше томить и накручивать интригу. Вот эти

серии. Может быть, кому-нибудь пригодятся. И да, некоторые имена я сократил, показалось не столь важным, как они обозначаются.

1

За окном тусклый воздух и жалкий голос еле живой птицы, неподвижные капли на листьях и уснувший ветер. Ветер застывает как дым, прячась в себе. Возникает он тоже из себя, не извне, он не приходит, а пробуждается.

В ночи есть звон, отсутствующий днем. Днем он заглушается деятельностью, а ночью проступает.

Ночь мы проживаем как звон.

Этот звон не выправляется ничем, от него можно лишь отвлечься более подвижными ритмами, разойтись и перестать вслушиваться. Он присутствует как натяженная данность.

Звнящее натяжение проявляется во сне как фон, как звучание машины, поезда, пространства, колокола. Натяжение лески и церемонии.

На окраине дом, в который боюсь заходить. Даже не заходить, а проходить мимо. Когда иду по соседнему кварталу, поглядываю в его сторону. Он, словно живой, поглядывает на меня, замечая, куда иду и где меня видно.

Решил пройти рядом, присмотреться. Вроде все обычно,

скамейки, кирпичные кладки, окна. Заметил, что дверь подъезда открыта — можно заскочить и подняться.

Вошел, сердце заколотилось, показалось, что воздух гуще обычного, и лестничная клетка представляет не только ступеньки, но и раскрывающиеся шторы.

Справа батарея в виде мехов застывшей гармонии. Вперед три квартиры и поворот на второй этаж.

Чем дальше проходил, тем волнительнее становилось.

Такое движение скорее похоже на вхождение в рощу, в плотный слой трав, кустов, дыма, с холодом в спине, мягким нерешительным телом.

Поднялся на четвертый этаж, зашел в квартиру, лег у стены. Бабушка спросила, что за вспышки света ходят по квартире, не я ли их делаю. Не я. Она подождала и сказала «но ведь ты это делаешь, вот, на стене». А по стене прошло отражение из окон, просто машина проехала и покачнула свет от фонаря или фарами прошла по отраженности, тени сдвинулись и пробежали по комнате. Конечно, не я, а случайное освещение, так часто, когда рядом дорога. Бабушка сказала, что здесь поблизости есть длинный коридор, в конце — двухкомнатная квартира, пустая, без мебели, но с красивыми обоями. Если ходишь по коридору, хочется кого-нибудь встретить, показать, как ладно поклеена квартира.

Ночью чтоб уснуть надо войти в покой, иначе будешь дергаться, вспоминать, тревожиться. Войти в покой легче

через усталость. Уставать тоже надо уметь. Наслаждаться усталостью и нежеланием действовать. Если приятно находиться в неподвижности, скоро наступит сон.

Ближе к утру, когда невроз мира становится невыносимо звонким, птицы начинают кричать. Они не общаются, а кричат от внутренней боли, от осознания себя. Выглядит это так, что они приветствуют рассвет и радуются наступлению очередной жизни. И приветствуют, и радуются, но в том числе тому, что можно будет действовать вместо вслушивания. Конечно, радуются, хотя бы тому, что сон оказался всего лишь сном, они снова проснулись, а не умерли.

В. рассказал о ночи страшных теней. На втором этаже на стене выстроился целый теневой театр, свет приходил из окна вместе с силуэтами неведь чего: все это варилось и брызгало. Невозможные трансформации, ясно намекающие, что происходит представление драмы иного мира, а не физический след от деревьев и фонарей. Тени показывали процесс рождения, в пугающих деталях, неспешно и холодно.

Если это утро мира, то скоро должны начать складываться формы, но возможно, они уже сложены и показывают себя расщепленным кодом. Может оказаться, что это не утро, а день, самая активность привычного мира, записанная в непривычной кодировке.

Проснулся в 2:43. Дядя Коля уже суетился на кухне. Сказал, что собирался будить меня, нужно выехать заранее,

а то если дорогу где замело, можем увязнуть. Туда ехать несколько часов, через полчаса отправимся, как раз успеем.

В окнах — ни огонька, все черное, в домах напротив ни единого свечения, либо все спят, либо никого нет, силуэты зданий и есть, если приглядеться, но словно потонувшие в мрачном сгущении. Похоже, окна занавесили, только с внешней стороны, или заклеили темной бумагой. Так не бывает, когда лежит снег, он дает отражение-освещение лунного неба, «замело» — было сказано наверняка про пыль или песок.

Мы поедем в город, на рынок. Там все собираются часам к пяти, а к рассвету уже никого нет — все расходятся.

По рассказам этот рынок всегда представлялся такой сходкой безумных людей, типа радиолюбителей или коллекционеров, казалось, что там нет ни одной женщины, все странны и нелепы, шепчутся между собой, показывая ценные товары. Как на городских площадях раз в месяц встречаются сборщики старинной утвари, ржавых ключей, никому из разумных людей не нужных изделий. Так и там, только еще нелепее. Дядя Коля рассказывал, мне не верилось. Спросил его, ничего, что он приведет человека со стороны. Ничего, туда со стороны не попасть, если приехал, значит, интересуешься.

Не помню, как мы спускались по лестнице, воспоминания ограничиваются моментом пробуждения, временем в ванной и на кухне, растянуто-порванным словно пластилин, и уже выходом из дома. Мы вышли из дома, не

выходя из квартиры и не спускаясь по лестнице, хотя это был явно не первый этаж? Так в памяти. Память, как сон, высвечивает ценные сгустки и прячет посторонние фрагменты.

Мы вышли из подъезда. Это воспоминание снова растягивается, кажется и застывшим, и мерцающим. Воздух не холодный, не теплый, и то, что видно по сторонам — не соотносится с тем, что должно там существовать. Никаких домов, дворов, скорее направленность и ощущение присутствия.

Вернусь на пару мгновений назад. Еще отчетливо помню, как дядя Коля смотрел в темноту, сидя на кухне, вглядываясь в невидимые перспективы. Все эти моменты я не раз восстанавливал и выстраивал в мысленную цепочку, и при каждой такой фиксации складывалось впечатление, что упущены важные детали.

Если бы снимал фильм о той ночи, начал бы со сцены, как стою в ванной, смотрю на себя, а изображение в зеркале меняется, уходят морщины, лицо набирается молодости, превращается в гладкое и свежее, а фоном звучит итальянское диско в техно обработке, с радужными колокольчиками, типа Don Amore, Love Tonight или Miko Vanilla. Дядя Коля слегка улыбается, поглядывая в мою сторону. Сейчас выйдем из дома, сядем в машину и отправимся на рынок.

Также не помню, как мы сели в машину, — этот фрагмент спрятан памятью. Мы вдохнули тихий воздух, проплыли по дороге около дома, и погрузились в подвижную тьму.

Такое чувство, что я повел эти бытописания в неправильной ритмичности. Все приведенные детали: кухня, зеркало, черное окно, — выглядят неважными деталями. Начну заново.

Ночь придерживала в себе всякое движение и спала вместе с жизнью, без ветра и лунного освещения. Лес, покрытый тяжелой сетью, придавлено и тихо видел во сне покойника, бегущего по кладбищенским дорожкам, от могилки к могилке. Наверное, люди видят такие сны, как они умрут и поплывут по местам захоронений, по песочной пенке, скользя и вспоминая, что с ними было раньше. А люди не видят таких снов, их видят деревья, укутанные в плетенках, и когда они переплетены, они — не деревья, а целый лес, с единым дремлющим сознанием.

Такое сознание способно парить и различать, перемещаться по тропкам, в нем ни темно, ни страшно. Никто с криком не пробуждается от увиденного кошмара, не пытается рассказать и объяснить увиденное. Этого «увиденного» и нет, в смысле, оно не случилось, скорее вспоминалось как всегда данное. То есть, это не первый такой сон, и не второй, он и не сон вовсе, что может начаться и закончиться, а скорее некое памятование о возможности. Необходимость видеть и фиксировать сны есть у разрывных сознаний, а когда все так слито и стянуто, сон — не сон, а часть тела, как кора, и видение не длится, а присутствует.

Деревья не видят себя людьми, и люди не видят себя деревьями, скорее и те, и другие, видят общее дыхание,

перетекающее по пространству допустимого. И «видел во сне покойника» — это видел не застывший труп или мертвеца, а покойное дыхание, избавленное от лишней суеты, способное посмотреть на пустое кладбище как на дремлющий лабиринт. Покойник не оживает и не блуждает в поисках выхода, он туда и не заходил.

И в той ночи так и было. Внешне прижатое прозрачным камнем, тяжелое и неподвижное, а внутри — плутающее без умысла. Мне виделось два места: первое — то самое кладбище, крайне прибранное, очищенное, без посетителей, с путаными дорожками, по которым можно дышать-перемещаться, а второе — место у стены, с телефоном, по которому я разговаривал с Б. В руках была бумажная поделка — сверток, но не равномерный, а заостренный у верха и более широкий у основания, как тонкий длинный колпак, сделанный из вставленных друг в друга цилиндров, на каждом из которых изображен какой-то царь или король. Собственно, Б. спрашивал о планах, а я вертел в руках этот сверток и вспоминал, как только что двигался по кладбищу. Планы обычные: буду в городе, рад буду повидаться. В каком городе?

Кто пробудился, кто не пробудился, а в той ночи было черное окно, как разлитая по внешнему миру смола, и желтое освещение на кухне. Дядя Коля уже встал, нарезал хлеб, вскипятил воду, увидев меня, сказал, что собирался будить, пора выдвигаться. Перекусим, закинем вещи в его машину и отправимся без лишней спешки. Когда холодно, мало двигаешься, только сотрясаешься, копишь в себе тепло; типа тепло делается от малых движений и расплескается, если пойти широко.

Момент, когда мы вышли из подъезда, прошли метров двадцать и сели в машину, крайне важен. Тоже показалось, что мы не вышли, а выплыли, без ног, плавно, из желтой кухни в черную внешность, не как люди, а как комки дыхания. И этот момент растянулся как губка, стал вневременным. Мы вышли из неподвижного и сели в подвижное, оставшись внутри себя блуждать по кладбищенским тропкам. Определенно, дядя Коля знал о сне или видел его же, он мог заглядывать в интимные подробности, ничего не спрашивая, просто наблюдая. Мы с дядей Колей — не покойники, и квартира — не могила, мы вполне дышим и смотрим. А где тогда твое тело? Здесь, на месте, в месте, в городе.

Мы отправились в город, на рынок. Рынок — порядок лавок, продавцов, покупателей, ряды, товары, — так обычно. Они начинают торговлю в ночи, чтобы к рассвету уже завершить, собраться и исчезнуть.

То, что произошло «дальше», произошло далеко не «дальше», оно могло быть как «до», так и «после», и у меня нет четкого ощущения, что это произошло именно тогда. Однако, сколько раз восстанавливал события в памяти, этот странный момент связывался с движением в город.

Движение: как снаружи, так и внутри; только ощущение, что оно в мгновение сместилось, направилось в другую сторону. Я оказался посреди большой комнаты без стен, с подвижным полом. Все покачивалось и мирно звенело. Еду в никуда, вернее, меня везут, к полу привязаны веревки, и это как санки, можно лечь, прижаться и застыть.

То ли потолок, то ли небо. И оно склеилось в купол. Можно смотреть на приятные далекие туманы, рисованные облака, комки теней и прозрачностей. Если потрогать купол, руки пройдут сквозь, как в голограмму, и никакого касания не случится.

Где твоё тело? В городе. На бесконечном полу, плывет по земле. Можешь различать? Да, но не собирать. Нельзя собрать образы или ощущения, зажать в ладонях как сбор трав, горсть воды, охапку объектов.

Не сразу распознал, что есть некто, тянущий за веревки, благодаря которому и получается перемещение. Он и катает на санках по вывернутому куполу. Когда лежишь, его не видно, а поднять голову нельзя, а если бы и было можно, ничего бы не увиделось, — зрение не в голове, а в другой телесности, а в ту телесность не проникнуть физическим усилием.

«Дальше» скрытый фрагмент, и поэтому непонятно, как это существование проходило во времени. Как только проявилась возможность действия, и купол притянул к себе, почувствовалось, что по нему можно размазаться; тело собралось в нечто новое, увидел себя со стороны, лежащим на доске, которую тянут две большие серые птицы. Этот «некто» оказался не один, их было двое, они монотонно тащили, но не бесконечный пол, а скорее деревянную дверь, на которой лежал «я».

Не бойся, мы твои мама и папа.

Это они, видимо, поняли, что я могу их разглядеть, сказали и успокоили.

Мы тебе насыплем в глаза песок, чтобы прочистить, чтобы ты лучше видел и спокойно жил.

4

Прошло несколько недель с момента написания текста про птиц и песок, того, что начинается с «Проснулся в 2:43». Вечером шел мимо стройки, там, где постоянно разгружают машины с материалами, цепи-заборы, и бетонные балки. Вечером светло из-за летнего свечения, не яркого, а темного, бирюзового, втягивающего. Будто просвечивается внутренность неба, воздух становится подвижным, наделенным ожиданием. Рядом шли трое: два мужчины, одна женщина, средних лет. Они шли и играли, мужчины веселили женщину своим настроением, да вообще непонятно чем, так обычно: изображается некая уверенность в жизни, и она улыбается от ощущения правильности существования. В один момент подул ветер, поднял и закружил песок с земли. Женщина остановилась, сказала «это попадает в глаза», мужчины эту фразу обыграли, один пошутил... как же он пошутил — не помню, а другой утвердительно посмотрел с кривой улыбкой. Им было явно приятно втроем. Когда подул ветер, я тоже почувствовал песок на лице, как живую руку, рассыпающуюся после прикосновения. Нас с вами трогает небо, бросая крошки земли на лица.

Дома, когда уже лег, чтобы уснуть, почувствовал зуд в глазах, особенно в левом, будто что-то пощипывало вну-

тренность за веками. Картинки, темные пятна, обычные мельтешения, которые сливаются с образами снов, останавливались и залипали, как зажеванные видеоклипы. Надорвалась пленка, на которой изображено все.

Залил едкие капли с имбирем и специями, чтобы вся грязь вышла со слезами, показалось, что помогло, слегка освободило напряжение. Теперь можно укрыться и уснуть, но для этого нужно достичь неподвижности внутреннего взгляда, чтобы глаза не разглядывали темноту, иначе больно.

Утром, когда очнулся от ночных мучений, не сна, а невесть чего, почувствовал новую, глубокую боль внутри левого глаза. Боль усиливалась, когда я смотрел на светлое и далекое. Вышел на улицу и понял, что толком не могу смотреть ни на что, кроме асфальта. Природа разъедает глаза, приходится смотреть себе под ноги, на землю.

Как-то просуществовал день, в режиме замороженных фрагментов и бережного взгляда вниз. А ночью проснулся от ощущения сильнейшей тяжести закрытых глаз. Не получалось толком существовать ни с закрытыми, ни с открытыми глазами, единственное более-менее состояние наступало, когда прикрывал левый глаз рукой и смотрел на свою ладонь. Ладонь — то что осталось из безболезненных объектов, остальное разъедает. Ладонь теплая, как приятный свет, как мягкий сон или колосья пшеницы, пуховые облака.

Таксист, что вез в неотложку, сказал, что зря я туда еду, он мог бы сам набрать навокаин в шприц и мощной

струей промыть, предлагал вернуться и прямо во дворе залить. В неотложке, при приглушенном зеленом свете, спросили, могу ли прочесть нижнюю строчку на стене, типа И Ш Ы Н К, могу, дело не в этом, а что случилось трудно описать, нельзя же сказать, что птицы насыпали песок в глаза. Через птиц предки приглядывают за нами. Сказал, что песок в глазах. Они почистили своими иголками, прописали капли, мази, вышел от них с необычным ощущением, что способен без зуда под веками закрыть глаза.

5

Зарево как красный демон в сером пластилине. Отсвет пылающих лоскутков, раскаленных хрустящих углей. И все небрежно размазано по видимым краям.

Слоистость становится.

Шерсть покрывает само пространство, оно все в мелких волосах и поте.

Пространство как вывернутая перчатка с болтающимися пальцами внутри себя.

Если воздух становится коричневым, значит, он заполняется песком. Или не он, а глаза.

В красной переливающейся пенке появились три силуэта. Похоже на тех самых людей, что шли около стройки и смешили друг друга: два мужчины, одна женщина. Толь-

ко один из них шел на четвереньках, как жалкая собака, еле поспевающая за хозяевами. Такая игра. Сколько не вглядывался, не мог понять, кто из них изображает собаку, когда моргал, казалось, они меняются, и только что женщина ползла за убегающими мужчинами, как все наоборот, она идет впереди, расправив свою телесность, а один из мужчин плетется с раскрытой пастью, как усталый пес. И видно их хорошо, хоть и силуэты, объем задается отливом, пасть не видно детально, но ясно, что она закатившаяся, с вываленным языком и капающей слюной. Это явно они, те самые, что были около разгружаемых машин, «это попадает в глаза».

Посмотреть в мгновение — ничего особенного, двое гуляют, за ними бежит собака. Уже поздно, а то, что небо наполнилось яркими красками — так часто бывает.

Круговые обороты, как перемещающаяся карусель.

Воздух делается бархатным и застывает как мох.

Они ближе и ближе. Когда совсем приблизятся, расскажут об ангелах.

[Сведенборг:

De spatio in caelo

«Всякое перемещение или передвижение (*progressiones*) в мире духовном совершается вследствие изменения внутреннего состояния самих ангелов, так что передвижения там суть не что иное, как изменения в состоянии.»

Расстояния для ангелов не существует, С. выводит отсюда, что для них нет и пространства, подразумевая, что понятие пространства опирается на понятие расстояния: «если же нет расстояний, то нет и пространства, а вместо тех и других — состояния и изменения в них.»

Далее он говорит о природе приближения: «приближение происходит из схождения в состоянии внутренних начал, а удаление от несхождения».

Таким образом, приближение происходит не как акт уменьшения расстояния, которого нет, а как склеивание качественных близостей, а удаление — как разделение того, что должно быть разделено из-за несоответствия.

У ангелов зрение не отделимо от мысли, а мысль от любви.

(в части 196 говорится о непрерывности пространства «hoc fit quia est continuum»: непрерывность как причина) Это все из-за непрерывности.]

Слоистость становится склизкой, влажной, как роговица гигантского глаза.

Мы стояли на поляне, ограниченной скошенными дорожками, окруженной домами. Н. сказал, что нам надо подняться на верхний этаж любого из домов, чтобы посмотреть на место сверху. Подъезд не был заперт,

мы зашли, поднялись по узкой лестнице. В подъездных окошках открылось место — ничем не примечательный двор. Н. сказал, что хочет меня проверить. В этом месте когда-то был проведен ритуал. Что за ритуал? Зачем? При каких обстоятельствах?

Вгляделся в пустой вытоптанный двор. До строительства этих домов? Скорее всего. Как я могу определить, что это было? Просто закрой глаза и представь, что здесь лес, ты случайно забрел и увидел людей, они что-то делают, а ты подглядываешь, спрятавшись за дальними деревьями.

Первое, что бросилось в воображение, что был костер, и происходило сожжение, однако версия отпала, показалась банальной. Нет, они не сжигали, они передвигались странным образом, словно водили сложный хоровод. Это не было жертвоприношением чего-либо видимого, там не было крови, скорее подкручивание пространства. Так? Н. посмеялся, показав видом, что я тыкаю пальцем в небо, но и это неплохо, может попаду.

Мы простояли минут сорок. Из одной квартиры вышла женщина с ребенком, посмотрела на нас с недоверием, спустилась вниз. Я вглядывался в место, пытался представить происходящее, но ловил себя на мысли, что произвольно придумываю версии, а не цепляюсь за какие-то знаки. Н. молча смотрел, то на меня, то в подъездное окно.

В тот момент возникло. Ощущение подсказки, малого кода, за который можно зацепиться. Дворовые птицы. Они все эти сорок минут прилетали-улетали, бродили по

двору. Но было место, посредине поляны, куда они не попадали. Птицы словно сознательно его обходили, могли подлетать довольно близко, но когда садились, обязательно отдалялись от некоего невидимого круга, начерченного на земле.

Ночью не мог уснуть, ворочался в появляющихся и исчезающих образах. Виделись инженеры 80-х, в пиджаках, надетых на свитера, водящие хороводы. Они улыбались, создавали телами знаки, рассыпались. Но улыбались не от веселья, а из-за формы ртов, у них были заячьи губы. Естественно, все происходило в «месте».

Утром позвонил Н., сказал ему, что в «месте» танцевали щелкунчики. Он в ответ рассмеялся. Не было там никаких танцующих щелкунчиков. Типичная ошибка. Что-то залетает в мышление и развивается там, убеждая собой. От этого трудно отказаться, оно быстро становится правдоподобным.

Постоянно возвращается одно воспоминание. Ночью просыпаюсь в незнакомой квартире, без деталей, как туда попал, на кухне дядя Коля, смотрит в темное окно, мы собираемся, выходим из подъезда, и отправляемся на машине на птичий рынок. На этом рынке продают и меняют магических птиц, снимающих болезни и предсказывающих будущее. Мы едем «направо», пространство сменяется, становится красноватым, а затем что-то происходит. Не помню, чтобы мы доезжали до рынка, но

помню вид рынка сверху, метров с пяти: там ряды, все окрашено бардовым и присутствует кусками, разрывно, будто нарисовано грубыми мазками, и довольно неподвижно, лишь слегка пульсируя. Такое чувство, что освещение у этой картины внутреннее, оно подсвечивает само себя.

При этом, нет ощущения, что это «затем что-то происходит» — внезапное и неожиданное. Вряд ли мы врезаемся или переворачиваемся на той машине. Скорее плавно въезжаем в воздух иной цветности и плотности, застреваем в нем, как в воде, и не только телами, а всем мышлением.

В том красноватом воздухе можно видеть сразу несколько мест, не связывая себя с конкретной точкой. Так, я вижу рынок сверху слева, и одновременно двигаюсь в другую сторону, уплываю на лодке, «понимая», что это не место рынка.

Пытался сопоставить впечатления о движении «направо» и «налево» с детскими ощущениями, куда направлялись электрички и автобусы, если находиться на станции-остановке и ждать: где город, а где дом. Возвращение домой происходит «направо» или «налево»? Но подобный психоанализ не сработал, у нас все автомобильное движение идет «направо», поэтому об автобусах можно не думать, там и в город, и домой — в одну сторону. С электричкой сложнее: налево — в город, направо — домой, но снова эти ощущения не складываются с воспоминаниями о движении «направо» на рынок птиц и дальнейшее скольжение «налево».

Итак, несколько повторяющихся движений. Мы едем направо на рынок магических птиц. Мы едем налево (в церковь?), останавливаемся по дороге.

Проснулся в 2:43 ночи, от сильной тревоги. Тревога как облако вокруг. Стал заставлять себя лежать неподвижно с закрытыми глазами. Не получалось заснуть, не было ничего близкого к состоянию приятной усталости, способному погрузить в сон. Открывал глаза, смотрел в темную комнату, затем снова пытался ввести себя в неподвижность. И в момент началось. Быстрое движение, перемещение в конкретную сторону — похоже на поезд. Могу открыть глаза, но хочу досмотреть, что же там будет. Поезд с мутным окном, за которым показываются коричнево-белые картинки. Все проходит в непривычной для восприятия скорости, нельзя сосредоточиться ни на одном фрагменте. Эти картинки — совершенно нечеловеческие, в них нет ни одного понятного образа, ни одной ассоциации, узнавания, ясности. Узоры, нити, песчаные орнаменты, быстро переходящие в новые и новые формы, психоделический клип, но не цветастый, а тусклый. Нет ни дня, ни ночи, ни деревьев, ни цветов, лишь пыльные нити, и это далеко не предсонное состояние, в котором сознание прилипает к мягким образам и сливается с ними.

[комментарий М.К. «возможно, утро мира, или глубокий вечер»]

Это было движение налево. Возможно, правильное говорить о вращении по часовой и против часовой стрелки, движение налево — вращение против часовой, переход от Востока к Западу через Север.

Так же случаются мгновенные перемещения. Мгновенное перемещение может означать, что ты «там» уже есть, необходим лишь момент воли для перевода осознания себя «туда». «То» может жить внутри памяти, не только ты «там», но и «то» в тебе. Перемещение как узнавание себя иного.

[из Фрезера:

Д.Ф. рассказывает о морских бекасах, исцеляющих от желтухи, приводит слова Плутарха «Природа и темперамент этой птицы таковы, что она выманивает болезнь наружу и посредством взгляда принимает ее как поток на себя». Торговцы бекасами держали птиц закрытыми, чтобы случайно кто больной желтухой на них не посмотрел и не исцелился бесплатно.

Там же приводится ритуал привязывания к кровати (желтой веревкой) трех желтых птиц: попугая, дрозда и трясогузки. Он также направлен на исцеление от желтухи.

Выстраивание отношений с небом через птиц.

Д.Ф. рассказывает, как некоторые племена забирают у неба птиц, чтобы их убить и вызвать небесные слезы.

Д.Ф. На острове Ява, когда ребенка впервые ставят на землю, его помещают в клетку для кур, а его мать начинает кудяхтать, созывая цыплят. Немецкие поверия: если птицы найдут состриженные волосы и совьют из них гнездо, у бывшего обладателя этих волос начнутся головные боли и появится сыпь.

Д.Ф. Айны считали, что филин своим уханьем предупреждает людей об опасностях. Они сажали филинов, кормили, поили, а затем отправляли в другие миры с посланиями, задушив их.

Дикая птица, залетевшая в дом, ловится, измазывается маслом и улетает, забирая с собой несчастья.

Д.Ф. Рассказывает о случаях передачи эпилепсии от людей к птицам.]

М. Е. говорил, что не любит птиц, что они как маленькие динозавры. Если приблизить их лица и тела, можно впасть в ужас от ощущения иного. Особенно если птица начнет кричать, раскрывая на тебя свой клюв, вглядываться или ввинчиваться, воспринимая тебя как пространство, в которое можно входить. Может ли такое случиться, что птица распознает в тебе свою память и попробует к ней дотронуться? Ты же не можешь мыслить себя куском чьей-то памяти. А кто-то может.

Мы подъехали к социальному дому. Слева заброшенная стройка и поваленные заборы. Перемотки, ленточки, чтобы огораживать растертый по земле хлам от чего-то... от чего это можно отгородить, если «за ним» сгнившее и вывернутое пространство? Нас в машине четверо, я на заднем сиденье, рядом мелкий юркий цыган, он суетится, беспокоится.

Цыган вышел, чтоб пройтись, оценить, а затем резко вернулся, захлопнул дверь и крикнул, чтоб двигали. Из-за развала появился и направился к нам. В черной одежде, покрытой пылью умершей стройки как пеплом кремации. Шел к нам и лаял. Цыган закричал еще сильнее. «Джа, джа», сейчас он подойдет к машине, и тогда нам не уехать. А что он сделает? Да неважно, ничего хорошего.

Тачка развернулась, он ускорился, погнался следом. Колеса выбросили из-под себя брызги земной жидкости, бесцветной жижи, прямо на него. Как дикая, облитая помоями, собака, он бежал за нами, рычал и извергал звучание, походившее больше на шум двигателя, чем на человеческий голос. Когда прилично отъехали, спросил цыгана, кто это был. С переднего сиденья услышался подкол «его дядя». Цыган шлепнул сидящего перед собой ладонью по уху, твой папа походу, — все рассмеялись, посмотрел назад, в серый дым, это был... а реально, кто это был?

Встали у раскрошенных ступеней. Возможно, мы смотрим сверху на наш район, прямоугольные куски поролона — это наши дома, стекловата — дрема, наш сон. Цыган ухмыльнулся, заметив мою неподвижность. Ты во что вглядываешься?

Стены и места между ними прошипели, подзвучивая наши ощущения.

Я здесь уже был с вами, много лет назад, мы так же стояли и смотрели, сейчас он скажет «ну что, куда поедем?», мы молча сядем в машину и поедем в сторону озера.

На ступени пристроились голуби. Десять-двенадцать. Прилетели, почувствовали, что нужно оказаться здесь.

Глаза голубей направлены в себя, и клюют они не землю, а свою внутренность. Вороны могут заклевывать голубя, разрывая его плоть, а сородичи будут рядом бродить и не обращать внимания. Кажется, они не связаны между собой, не имеют никаких чувств. Но в один момент случается щелчок, сгребаящий всех в охапку. Голуби взмывают единым телом, образуя ровное, гигантское Нечто, вращающееся в воздухе. Сущности, безразличные друг другу мгновение назад, сливаются в цельном сознании.

Сколько существует сказочных сюжетов... Герой идет-бредет и натывается на гнездо вещих птиц. Он может устать и уснуть под деревом, на котором расположено гнездо, может случайно спасти птенца. Птицы видят будущее, рассказывают о том, что произойдет. Это знание помогает проходить испытания или обходить опасности.

Парящая телесность существует в иных «временах», и глядя на птиц, часто можно сказать, что они не «не здесь», а «не сейчас». Глядя на птиц можно видеть будущее, или прошлое, или вывернутое как одежда время.

Нечто вращающееся — это «я»? Показал пальцем в сторону улетающих голубей. Не влево, не вправо, а вращаясь. Цыган серьезно посмотрел в их сторону, затем на меня. Ты убитый что ли? Это ты, твой дядя, Строитель. Что он

говорит? А когда цыган долго смотрит в лицо и не удерживается, начинает ржать, я знаю, что точно не сплю, хотя, судя по серому освещению, всякое может быть. Становлюсь, раскидываю руки и говорю «я не сейчас». Когда говорю «я не сейчас», оказываюсь в воде, мне лет шесть, это море, прямо у берега, там мелко. Дедушка собирает лодку, вытаскивает, бабушка говорит мне, чтобы тоже шел к ним, пора домой, нормально уже покатались, а я отвечаю, что поплыву, а не пойду. Они говорят, ну так плыви, а я смотрю на свое отражение в воде, оно колыхается, солнце проходит сквозь и касается рифленого песка, отражение двоится-троится, становится и прозрачным, и сплошным. Видно же, что существую в подвижности, плыву вместе с песком и волнами, раскинув руки. Бабушка ждет минуту, две, затем недовольно подходит, хватая за руку и выводит на берег. Я ведь плыл к ним, как и «я не сейчас».

Цыган закашлял, сплюнул на землю собравшийся в горле кусок дыма, мешавший дышать, показал видом, что уезжаем. Куда? Никуда. Можно вернуться, посмотреть, как бегают и рычит Строитель.

Существа, заманивающие людей якобы детским плачем. Жалобно плачут в ночи.

На эту птицу можно смотреть лишь сквозь толстое изогнутое стекло.

Птицы собирают растерзанные и разбросанные души.

Ритуал сшивания новой одежды для души.

Прикосновение неведомой воли происходит как ощущение иной плотности воздуха как видимого, так и вдыхаемого. Воля прикасается.

Если мы вернемся к Строителю, он на нас набросится с лаем или покажет, куда нам ехать. Мы же не можем выбраться из этого места, кажется, что движемся, но получается, как «я не сейчас», как в море, раскинув руки.

Вспомнил, как Н. использовал перья как стрелки, определял, куда идти. У пера есть направление, если Н. находил перо, шел, куда оно указывало, если находил мертвую птицу, шел туда, куда указывал клюв. Если сразу много перьев, все растрепано и разбросано, значит, на сегодня хватит ходить по меткам, уже ничего не найти.

Возможно, Строитель знает, что мы остановились и собираемся вернуться, чтоб расспросить. На какой птичий рынок мы можем поехать, если мы не можем пошевелиться, если весь город — разбросанные куски поролона, чем дальше, тем глубже ввинчивание в свое «я не сейчас».

Ну что, куда поедем?

Сейчас.

Пока едешь, можно не задумываться о смысле. Так выстроены роуд-мувиз и роуд-сториз, просто движешься и в этом движении есть ритм, о смысле можно будет говорить, когда приедешь, а пока так.

Смысл паломничества.

Паломничество позволяет отдохнуть. Пока едешь, ты — паломник, можешь не поститься и заниматься только движением, и не задумываться о лишнем, о себе. Пока едешь, ты занят необходимостью, можно не оправдываться.

Зашел в комнату в общежитии. В середине стандартного коридора. Комната светлая, с кроватями вдоль двух стен и шторкой при входе. Похожа на нашу, в которой жили двадцать лет назад. Помимо жителей, оказались двое: это К. и улыбающаяся женщина лет сорока в белом халате. К. смотрел на меня худым лицом, дрожал, и видом показывал, что должен что-то сообщить. Женщина находилась рядом с ним, но не так, чтобы видеть их вместе, а скорее облепливая меня своим присутствием. Когда вышел из комнаты в коридор, они вышли за мной, только вышли, не выходя из дверей, оказались рядом сразу. Дальше, как начал прогуливаться по коридору, они слегка отстали.

Их присутствие напоминало тяжелое облако, тянущееся за мной. Ведь их нет в смысле обычных людей-взглядов, но они явно есть, с ними можно поговорить и понаблюдать за их действиями. Возвращаешься к середине коридора, возвращается и облако, оно каким-то образом привязано к месту, в конце коридора его нет.

Находясь в том пространстве, даже на периферии, можно играть с видимым, с помощью рассеянного взгляда. Похоже на разглядывание трехмерных картинок. Если сначала рассеять, а затем собрать, то в темном коридоре

увидятся объемные столпы, несветовые башни, колонны как вырезы. Будет светиться не сам столп, а окрестность вокруг него, и не светиться, а распознаваться как более светлая, с видимыми парящими пылинками. Гигантские колонны кем-то удалены. Если вдвоем или втроем, их можно обхватить, подобно толстым деревьям.

Не было ничего, что могло напугать, даже после осознания, что облако невидимо остальным. Если бы женщина завопила как Лора Палмер, может тогда да, появился бы страх, а так, казалось, что она на работе, выполняет то, что приписано. Как медсестра. «Живет» и работает по-своему.

В каком смысле их нет, если это вполне явная, сложная и густая данность?

Где была эта женщина вчера, сегодня утром, десять минут назад? Отчетливо чувствуется неуместность этого вопроса, ведь там нет привычных нам «вчера» и «сегодня утром», и времени вообще. Если таки вынудить ответ, то он будет «там же, где и сейчас», вчера она была там же, занималась тем же, своей работой. Она улыбалась и заботилась о куске реальности, о создаваемом облаке, том самом, что будет зацеплено за мое сознание. Она заботилась обо мне.

Ее зовут Светлана, я когда-то дружил с ее сыном, они жили в одном из заводских общежитий, на третьем этаже, после закрытия завода она устроилась санитаркой в больницу. Они жили вдвоем, в небольшой комнате, и, видимо, у нее не было сил прибираться, сколько раз заходил к ним, столько раз удивлялся хламу, лежащему

нахламе, вывернутым шкафам, ободранным стенам. Но сам друг не был грязным и голодным, мать о нем заботилась. Вроде у них дома было все чисто и прибрано, мало вещей, старый красный диван, большие окна, яркий свет, и всегда день. Поражала чистота и свежесть. Когда выпадал снег, он покрывал пышные ветви деревьев за окном и отражал сияние, чтобы оно заходило прямо в комнату.

Кажется, я описываю нечто запретное, руки дрожат. Такое редко, но случается. Началось лет двенадцать назад, когда писал письмо. Возникло ощущение, что сообщаю недозволенное, руки задрожали. Хотя в том письме не было особой интимности. С тех пор подобное произошло не больше десятка раз. И всякий раз, пытаюсь нащупать это «запретное», я впадал в непонимание.

Это две опровергающие друг друга картины: их грязная комната и их чистая комната. Воспоминания содержат и то, и другое. Но «запретное» явно в ином.

Бездонная пустота, зияющая бездна внутри вырезанной колонны скрепляет слои между собой.

Когда сообщаю «грязная комната» и «чистая комната», комната строится. И можно подумать, что к этой Светлане у меня есть некий интерес, но, если он и есть, он лишен сексуального контекста. Светлана неинтересна как женщина со страстями, она интересна как существование, как она «живет» по-своему.

Появилась возможность смотреть на свое мышление изнутри, как на внутренности тела, и касаться зон-режимов.

Ощущения, которые возникали, варьировались от очарования до тошноты. То, что можно было разглядеть. Универсальности против перечислений. Принципы формирования против списков. Списки как телесные ребра, универсальности как воздушные емкости и потоки, лишенные форм, заявляющие о своем присутствии. Каким «образом» они заявляли о своем присутствии и ценности? Они скорее сглаживали все попытки конкретных формирований, забираясь наверх, на любую умозрительную конструкцию. Как только конструкция строилась, очередная универсальность ее подавляла. «Так ты мыслишь» — подобный комментарий звучал в показываемом пространстве, и от допускания того, что это «именно так», появлялась тошнота — определенно, показывание было процессом, растянутым во времени, в котором могли «появляться» и «исчезать» фрагменты и вместе с ними ощущения. «Именно так», и его отрицание, тоже поглощались универсальностями как гигантскими потоками. Дышишь, мыслишь, «именно так», и это процесс движения крови по сосудам, только внутри странного тела, из которого не выбраться, а если появится идейность того как от него отщепиться или его миновать, она будет схвачена очередным воздушным движением и встроена в тело.

Никогда раньше так четко не осознавал противостояние универсальностей и списков.

И в тот момент... не было никакого момента, «и в тот момент» — это ощущение проникновения иного, которое, возможно, там присутствовало всегда, появилась стая точек, текучих с северо-запада на юго-восток, как струя мелких черных птиц, проходящих сквозь видимое про-

тивостояние. Стая не касалась ни ребер-списков, ни накрывающих потоков. «Это и есть магия», магия — струя, вклеенная в другой слой существующего.

Комната. Светлана. «Именно так». Светлана скорее мать. Чья-то мать. А грязная и чистая комната — режимы ее присутствия, как ночь и день. М. рассказывал про женщину, живущую на кремациях, она ему говорила «что для тебя день, для меня ночь». Возможно, в одной из комнат происходит ловля мышления, «именно так» звучит как приговор, указывающий мышлению место внутри списка. Выставленные вовне паттерны контролируют движения того, что внутри — страх этого сильнее страха внешней неподвижности или тюрьмы.

Все, что ты выскажешь или даже помыслишь, содержится в списках. И попытки побега из списков тоже содержатся в списках. И неважно, какой текст ты напишешь, он будет легко найден в списке, как уже ожидаемый, и твое мышление — невроз чуть большего чем ты существа, дающий приятность тебе как «я», заброшенному в комнату.

«И в этот момент» я закричал. Цыган, дернувшись от крика, резко зыркнул, типа что, а затем, увидев мое состояние, захохотал. Что ты там выхватил? Мы едем, все ровно, не пугайся. Здесь нечего бояться. Никто тебя не ловит.

Лунные столпы походили на прутья, в них сидел огромный филин и еще одна птица, они словно прикреплялись светом к ночному небу, одинаково застывшие, столпы их

поймали и закрепили в себе, или же птицы обнаружили световые потоки и сами зашли.

Стальные нити, идущие из неба, держат двух птиц. Темнота около них темная и глубокая, насыщенная, скорее фиолетовая, чем черная. Темная темнота.

Филин неподвижно смотрит на меня и ясно, это никакой не филин, а нечто, принявшее такую форму, чтоб меня не испугать. Нечто явно осознает, что я присутствую и в него вглядываюсь, как и в фиолетовую густоту. Она явно вязкая, но не как вода, а скорее как сильно сырой воздух.

Можно отвернуться и забыть. Или обрисовать видимое, как делают в кино с анимацией, или выцарапать на этом месте другие силуэты.

Показалось, что смогу понять эту сущность, поменявшись с ней местами. Достаточно всего лишь представить себя на ее месте, находящимся внутри светового столпа, посмотреть на себя прошлого, сидящего на диване со стороны. Представить так, как представляют варианты будущего. Но как только попробовал это сделать, комнату словно развернуло и отразило, ничего не поменялось. Я остался сидеть и смотреть на птицу внутри освещенной области. Мы поменялись местами, но ничего не изменилось. Либо так нельзя разглядывать, либо я выгляжу в данный момент точно как она, смотрюсь в зеркало, не хочу себя пугать.

Комната внутри прошлого. За столом сидит человек и его темный предшественник. Они распределяют будущие

страхи этого человека. Он пугает сам себя, только не сейчас, а потом. Все, чего он испугается в жизни, уже обговорено и продумано. Ночная птица, зависшая на фоне книжного шкафа, непонятный кошмар у реки, тени и люди, с затекшими лицами — все это уже обсуждалось и проживалось. Ты увидишь себя в зеркале и испугаешься. Хорошо. Ты упадешь в бесконечную дыру и испугаешься. Хорошо. Ты разглядишь вклеенное неприятное и испугаешься. Хорошо. Ничего особо страшного не будет. Где находится эта комната? Похоже, что внутри клиники неврозов.

Почему там два лунных столпа? И идут они не из окна, а сверху. Будто наверху находится окно с рамой, разделяющей стекло на две половины.

Мы сидим за столом и чертим план, как появятся световые стержни, как в них закрепятся птицы. Продумываем трюк. Чтобы не было заметно нитей или подставок, или проектора. Если смотреть с метров двух, ничего подозрительного не увидится — освещенная птица, застывшая в воздухе. А что, если «я» подойду поближе, начну разглядывать? Не подойду, испугаюсь. Будем использовать страх будущего, неподвижность наблюдателя. Он ничего не разглядит, закроет глаза или отвернется, а впечатление останется.

Или страх зеркал. Его тоже можно заранее обсудить.

Если вспомнить. Страх зеркал во мне был всегда, но проявлялся не всегда, а в некие моменты тишины. Казалось, что зеркала оживают и прислушиваются, и, если в них посмотреть, раскроется не только отражение, но и дорога в темный лес. Нужна смелость, чтобы подойти к своему

отражению и взглянуть в глаза. Вернее, иногда это просто и даже смешно, а иногда невозможно. П. говорил, что боялся лишь старых зеркал, мутных и с окаемками, как у его бабки, а новоделы — не зеркала, а стекляшки, их нечего бояться. У нас были стекляшки в секции, за посудой, и в них разорванные отражения, ничего страшного, но наступали моменты, когда пространство слегка дрожало, и тогда это «ничего страшного» переходило в глубокий ужас. Дело не в старом и новом, а в напряжении, которое цепляет слоистость, и этот страх связан с возможностью разглядеть лишнее.

Когда видимое раздваивается или четверится, оказывается, что в разных кусках видится несколько разное, вернее, то же самое место, но существующее в разное время, и, если разница по времени невелика, просто кажется, что одно изображение запаздывает, тянется за остальными, происходит тягучесть и плавность, но разница может быть годовой или столетней, если говорить привычными календарными словами, и тогда «место» будет совсем иным. В разные режимы можно нырять и задерживаться, прижимаясь волей к видимому.

Д. О. прислал письмо, описал, как поехал на кладбище и там решил посмотреть на запад, на оградку — посмотрел, и тут же его одернули. Он сделал что-то не так, посмотрев туда, хотя ничего особого не заметил, лишь что-то белое, движущееся.

Видимо, запад — это то, что смотрит на алтарь. Откуда смотрят на алтарь.

Попросил Д. О. подробнее рассказать о западе. Он ответил, что хотел увидеть людей, идущих оттуда, но там никого не было, лишь два белых силуэта. Как струи дыма. Я снова попросил уточнить, чего же он ждал, когда решался посмотреть на запад. Д. О. ответил, что ждал забытое чувство, что-то из детства, но не подарок — если это место мертвых, то с запада должен кто-то прийти, чтобы помочь.

Эти слова Д.О. меня тронули. Появилось чувство благодарности, похоже, что Д.О. раскрыл тайну.

Забытое чувство, приходящее с запада.

Д.О. про Питер: «Сложный город. Для меня все, что связано с севером — сложно, так как я не понимаю, чем люди питаются на севере зимой.»

Д.О. спросил, нет ли у меня страха замерзнуть зимой.

Возможно, запад является местом хранения забытого. Оно уплывает на запад по невидимой реке, где-то останавливается и скапливается как тина. Нитчатые водоросли. Можно ли по виду человека на улице понять, заглядывает ли он на запад в ожидании забытого? Он сосредоточен, напряжен, боится растерять то, что разглядит. Держит воду в ладонях. Смотрит с небольшой опаской, не желая увидеть лишнее. Готов в любое мгновение отвернуться, если там начнется что-то не то. Белые силуэты. Дым. Маревы. Маслянистые пятна в воздухе. Главное

— предчувствие. Он слишком серьезен по отношению к данному моменту. Другой бы расслабился и с иронией посмотрел на происходящее, словно нет никакого запада и востока — это все игровые неважные конструкции. А для него это не формальности, от которых ничего не зависит, а направление ожидания. Чуть ослабишь внимание — и расплескаешь то, что готово появиться. Оно тоже наблюдает за тобой, насколько ты серьезен в своих намерениях.

Страшный суд на западе — варящаяся память.

12

На земле лежал развернутый кусок фольги. Издалека казалось, что в нем разлита блестящая вода, а на самом деле, это просто отражающийся солнечный свет. Подошли маленькие люди с полупрозрачными телами и начали водить хоровод, как вокруг костра.

Куски дрожащего воздуха я называл «влияниями». Их много, они перекрывают друг друга. Отщепляются от большого марева и двигаются сами по себе.

Нам по привычке кажется, что для того, чтобы нас заметить, надо нас увидеть, или услышать, или почувствовать наш запах. Что нельзя это сделать, словив намерения. Если мы прячемся довольно глубоко, нас не обнаружить.

На самом деле намерения выдают нас ярче, чем запахи. «Влияния» застывают и ждут, когда намерения проявятся, затем наклоняются и плывут к обнаруженному.

Мы стояли с И. в зеркальной комнате, он смотрел в стенку на свое отражение и орал. Лицо у него было красным и мокрым. Только что его отвозили по двору как кусок резины, я ходил рядом и не знал, что делать, перемещался как прозрачный призрак. Меня не трогали, я подходил к этим людям, нерешительно дотрагивался до их плеч, говорил «отпустите его, прошу вас», они меня не слышали, не замечали. Может, я вообще не существую или вижу сон? Нет, вроде бы. И. меня явно видит. И вот, мы стоим, он кричит на свое отражение. Они сейчас вернуться. Что ты им сделал? Да какое-то недоразумение. Сейчас все вернуться. Сейчас приедут на тихих машинах, погасят фары, вылезут со стволами и железными прутьями, начнут тихо говорить. Мы можем в эту минуту уйти отсюда и больше здесь не появляться.

И. приблизился, трясущимися губами прошептал «ты не представляешь всей красоты ангельских миров». Он явно напуган. Скоро за ним вернуться. Хотя зачем им возвращаться? Слушай, за нами никто не вернется. А когда вернуться, здесь ничего уже не будет, ни этого места, ни времени, только дыра внутри воспоминаний. Извини, что я так нерешительно ходил и просил за тебя, а не набросился на них со спины — испугался, что убьют. Они бы нас избили прутьями, затем отволокли за сараи и выкололи глаза. У них тяжелая жизнь, так каждую ночь. Они как летучие мыши с раскрытыми пастями. Можно вырыть здесь яму, они ее не заметят, приедут, упадут. Или колодец. Они приедут, мы скажем, что надо воды набрать, и сами прыгнем, а оттуда видно все. Или какую-нибудь тень сделать, чтобы они в ней сгинули. И. сказал, что надо собрать людей. Каких людей? Нас всех перебьют, у

них же крысиные лица. А что такого? Не хочется родных расстраивать. А так, ничего. Ну и еще кажется, что умереть можно более идейно. И до этого сделать побольше. Но никто не вернется, они утонули во тьме. Теплая ночь, раскрытое небо, все видно.

Через ... недель я сидел в темном коридоре, около батареи, два человека меня били ногами, выкрикивали оскорбления и ненависть, поглядывали по сторонам, я не знал, что делать, вроде и не было чувства беспомощности, но мысли путались. Они меня вряд ли убьют, могут сломать голову или ребра. Закрыв голову руками, сжался как эмбрион, начал шептать. Какая ненависть? Теперь это не крысы, это змеи с собачьими лицами, они извергают огонь. Они не убьют, испугаются. Подходит другой человек, направляет ствол. Подходит еще один, смотрит, улыбается. Вообще не понимаю, кто эти люди и из-за чего они меня ненавидят. Не из-за чего-то, у происходящего нет причин. Я им безразличен, могу тихо встать и уйти, они будут так же гневно относиться к куску воздуха у батареи. Они не чувствуют намерение, просто производят ужас. Как ночные фабрики с впавшими окнами-глазами.

В ту ночь я добрался до дома, лег прямо в одежде, забрался в кроссовках и куртке под одеяло, уснул. Во сне не видел ничего, кроме тумана с красными пятнами, плавал в нем как в реке, никаких образов и сюжетов.

С. рассмеялся, когда я ему рассказал о произошедшем. Сказал, что тоже вывозил людей в лес, стрелял им около уха, вызывая страх, что с некоторым людьми получалось полноценно общаться только в лесу. Теперь другое время. Мы

едем в лес просто погулять, пострелять в мишени на деревьях. Спросил Д.А. про жестокость, отчего она возникает в людях. Он ответил, что от нехватки воздуха, жестокость — это проблема дыхания. Вернул в памяти ту картину в темном коридоре у батареи, представил, что те люди задыхаются. Им трудно говорить, не хватает воздуха, поэтому они рычат. Нет, дело не в нехватке, а в ином качестве воздуха, он заполнен соком, затрудняющим существование.

Во время изломов меняется перемещение воздуха, из-за этого скапливаются сгустки, мешающие дышать. Не было бы излома, не было бы жестокости. Если бы мы находились в другом коридоре, с другим сквозняком, не случилось бы всех этих проблем. Или если поменялись бы местами. Их посадить к батарее. Я бы не оскорблял никого, не рычал, а тихо рассказывал об ощущениях момента. Д.А. сказал, что не стоит говорить о жестокости животных и птиц. Когда они заклеывают друг друга на глазах у сородичей, они вряд ли задыхаются. А у людей так — красные глаза и пленки на ртах.

Есть густой слой, который я называл «наверняка» — надо было как-то его называть, почему-то выбрал именно это слово. Одно время казалось, что там скапливается нереализованный мир, тот, что был еще недавно возможен, он отслаивается как неслучившееся и растворяется. Там нет узнаваемого из-за того, что нереализованное сразу сжимается и существует в непонятных формах. Позже понял, что это совсем не сжатое неслучившееся, а некое иное.

Лет в десять показалось, что в этот слой ведет сильный невроз. Постоянные нервные тики позволяют соприкасаться с ним. Как медиум входит в контакт с миром духов, сопровождая свое состояние тряской и закрыванием глаз. Так и здесь. Чередование напряжений и расслаблений позволяет почувствовать, что этот слой рядом.

Просачивается затягивающая мелодия, тики становятся инструментами. Иногда туда можно проникнуть через тревожный сон, набрать содержимое и слепить историю — она увидится как альтернативное прошлое.

Мельтешения 2:43 похожи на то, что хранится внутри «наверняка». И ясно, что это не осевшие возможности, не отброшенный хлам, а потенции иного мира.

Есть мгновение прорыва, когда появляется возможность хоть что-то разглядеть. Ты прорываешься во внутренность этого расплывчатого мира и двигаешься по нему, ничего толком не понимая. Там нет того, что мы мыслим как язык, но хватает ингредиентов для построения чего-угодно, и языка в том числе. Станет ли возможным общение? Скорее всего, нет. Да и разглядывание происходит не в смысле фиксаций и прикрепления значений. Никакого узнавания, никаких границ, никаких интерпретаций.

Нахождение там похоже вот на что. Когда подходишь к луже с бензиновыми пятнами и палкой перемешиваешь радужную пленку. Конечно, можно гадать на проступающих формах или оценивать их как красоту.

Фрагменты прижимаются друг к другу, они все мелкие, их не выделить. Сравнения с чем-либо, с рябью отражений, или обмотками, оказываются неработающими. Сравнить можно, толку с этого никакого. Все погружено в неоднородную текучесть, с областями-провалами. В «наверняка» есть свои воронки, вихри, поры. В это попасть — и все. Ты где? Нигде. Внутри еще не сложившегося мира.

И вот, мгновение второго прорыва. Когда из гущи выныриваешь в чистую воду, остается ощущение, что находился до этого внутри водорослей, а сейчас все тихо и спокойно, нет разбросанных непонятных форм, движений, мутных залежей. Кто-то писал огромный бредовый текст в клетчатой тетради, ты читал написанное и дошел до его конца, но продолжил пролистывать пустые страницы. Листаешь и не понимаешь, как еще недавно, на таких же страницах творилось неведь что. Теперь все понятно, все, кроме самого действия, зачем и как ты перелистываешь пустые страницы. Никуда ты не вынырнул, просто уменьшился и погрузился в гигантскую слепящую клетку. Я не оценил ни порядок, ни комнаты в местах провалов, ни возможности склеивать и конструировать. Было столько возможностей.

Спросил И., видел ли он, как выворачивается двор, если смотреть сверху? Он дернул головой и резко посмотрел, будто я озвучил его секрет. Ты что, ссука, подглядывал?

За чем, как за этим можно подглядывать? Да, точно. А это не секрет, я видел то же самое. Двор выгибается и слегка звенит, превращается в дно огромного металлического сосуда. Если ты находишься там, то ничего не замечаешь, а если смотришь из окна, можешь разглядеть. Это кусок объективной реальности. Какой же это бред! Но почему-то мы оба прекрасно понимаем, о чем речь, и не только мы. Когда выгнутая поверхность звенит, становится ясно, что за нее не вырваться, она ограничивает мышление. Она и есть «предел мышления». Как бы ты не ухищрялся в мыслях, ты все равно останешься скользить и производить похожее звучание. Она уже собрала и впитала все, что ты сможешь помыслить. А это не так. Я смогу помыслить иное. Только не надо бояться ошибки, не надо бояться оказаться внутри внешне бессмысленных высказываний. Мы же не философы и не люди науки. Нет сообщества, на которое мы обязаны производить впечатление. Не надо бояться вообще, от страха кружится голова и приходят собаки. Разве не ценно то, что мы присутствуем и думаем об этом? Если мы спустимся, соберем тех, кого в данный момент видим, приведем сюда и расскажем о вогнутом котле, они почувствуют, что за этими словами стоит нечто ценное.

Все это я проговорил про себя. И как только проговорил, почувствовал непривычную легкость. В конце 80-х, мама отвела к невропатологу. Строгая женщина сказала, что надо научиться наслаждаться расслабленностью. Ты сначала напрягись сильно-сильно, а затем расслабься и пойми, как это приятно. И вот, только что это почувствовал.

Мы радуемся этому мгновению, чистоте и свободе. Неважно, как наши слова воспримут, какие интерпретации

приведут, мы ждем, когда внутри марева начнет проявляться город, дома вокруг станут плавными стенами, поляна превратится в каменную улицу, а дерево останется деревом, только купоросным. Это зависит от нашей верности. Если оставим эти места, уйдем из этого подъезда, никогда не увидим чуда. Что бы кто ни говорил, какие бы уловки ни придумывал, надо сохранять верность этим ощущениям. Когда соберутся уважаемые люди и скажут, что все не так, надо отречься, когда объяснят и расставят все на свои места, лучше молча посмотреть, но сохранить внутри себя то ощущение. Они обязательно появятся, обязательно разъяснят, ну и что? Если ты дрогнешь и предашь то чувство, Иерусалим никогда не проявится, вместо него наступит жуткий нечеловеческий обморок. Из-за мимолетной слабости или силы их аргументов, неважно, из-за чего. Они выжмут у тебя стыд, это точно, заставят извиняться за те самые мечты о чистоте и свободе. Но что бы ни случилось, нужно мысленно возвращаться сюда снова и снова, укрепляться и ждать.

Внутри дальней базы был продуктовый магазин и столовая, они закрылись в 89-м. Мы прошли с М.Б. мимо той столовой и посмотрели на свои отражения в пустых окнах. Согнули руки как бодибилдеры, показали бицепсы. Там стекол, в которые можно вглядываться, не так много. Мы покрасовались как перед зеркалом, изображая шварцнегеров, обогнули столовую, прошли мимо бывшей пропускной, вернулись обратно, снова встали перед стеклами, пафосно сложили и напрягли руки. У нас соревнование по культуризму мистер Олимпия, мы обходим разбитые здания снова и снова, показываем в уцелевшем окне себя в разных позах. Обходим по солнцу, приближая будущее.

Сверху мы выглядим как кончики монотонно вращающихся стрелок, останавливающихся на минуту около одного и того же деления. Или кабинки подвесной карусели.

Показалось, что с каждым новым кругом что-то меняется в изображении, мы видим себя через год, затем еще через год. Получается гадание. А я знаю, что будет с М.Б. через десять лет. Он вольется в банду, поедет разбираться в вопросах территории и поставок, его полоснут ножом, и все. Пойду к нашим общим друзьям, мы будем блуждать по заброшкам целый день и стонать «как же так», затем посвящу ему спектакль. А сейчас мы ходим и вглядываемся, и сами хохочем от глупости сложившейся игры, кажется, что нельзя останавливаться, надо досмотреть, что будет дальше. Когда прошли один или два круга — можно было бросить и пойти дальше, а теперь уже нельзя, надо что-то разглядеть. Уже похоже на неврастению, наматываем круги и совершаем одни и те же действия перед стеклом. Когда подходим, немного страшно, что не увидим изображение, оно пропадет по неизвестной причине. Не пропадает, ничего толком не меняется, на фоне тоже, там никого нет, ни людей, ни машин.

Пустая белая комната. Как только говорю «белая», сразу возникают внутренние вопросы, с чего это она белая, она не белая вовсе, а бесцветная. Скорее действительно комната, хотя не видно ее стен, точно не простор. Стою и смотрю, но не неподвижным взглядом вовне, а проникая в окружающее, слегка покачиваясь через вглядывание.

Вообще не задумываюсь, как долго нахожусь в этом месте и как сюда попал. Опять же, не хочется говорить «в один момент», там нет явных разделений моментов друг от друга. Но появляется голос, слышу его, при этом, он производится не с внешней стороны, а как внутреннее разгадывание. То есть, я сам себе что-то и говорю, шепчусь с собой. Говорю, что в этой комнате можно собирать. Что именно собирать — не особо понятно. Шепот продолжается, что здесь собирают не произносится, но у этого чувствуется ценность. Нечто важное. Сейчас, когда описываю то ощущение, ловлю себя на том, что растягиваю сообщение во времени, пытаюсь последовательно передать, что и как почувствовал. Ничего там не оценивал, «важность» того, что можно собирать тоже пришла сразу. Такая проблема. Для приближенного описания надо разбить всю цепочку на последовательные «понимания», хотя там по-другому шло время и не исключено, что все осозналось в один момент — как вспышка. Здесь можно собирать идеи. Слово «идеи» не прозвучало, но это самое близкое к тому, что можно высказать. Возможно, не идеи, а формирующие принципы, мыслительные первоосновы, атомы движения сознания, сюжеты. Собирать не как ягоды, а как конструкторы. Их можно будет вынести отсюда в привычное состояние, более того, они составят вообще все идеи, которые у меня возникнут в течении жизни — других не будет. Они осядут в глубинной памяти и станут проявляться в будущем, как озарения, как чувства нового. Такой ответственный момент. Сколько могу здесь находиться и конструировать идеи? Сколько угодно, пока не устану или не разочаруюсь в этом занятии. По повелению воли выбросит обратно. Как их собирать? В воздухе плавно перемещаются невидимые стустки, про-

зрачные области, их можно ловить волей и склеивать друг с другом. Как толькоходишь в этот процесс, становится понятно, как формируются идеи — как пластилиновые фигуры, склеенные из разных прохладных пойманных фрагментов. В плане разнообразия возможностей — это не комната, а настоящий простор, можно выстраивать что угодно, ограничений нет.

Взял и сложил идею этой комнаты «здесь создается пространство идей». Эта идея о пространстве идей — единственная, которая вынеслась оттуда сразу и непосредственно, остальные припрятались, чтобы вспыхнуть в нужное для себя время. Не исключено, что многие из собранных там идей, при озвучивании здесь, превращаются в абсурд.

Неужели за это не надо платить? Можно брать сколько угодно и ничего не отдавать? А нечего отдавать. Ничего нет, только ожидание. Вокруг никакой корысти тоже нет, ты берешь то, что готово проявиться. Проявиться где? Да неважно.

Если в темном задымленном пространстве посветить фонариком, высветятся сложные текучие кружева. Там казалось, что можно взять бесконечный световой столп, уложить его в бесцветной комнате, и посмотреть. Проявятся всевозможные сюжеты, связки, формы.

Утро мира так и мыслится, как нескончаемая вереница возможностей с высекаемыми светом слоями, внутри которых кружатся образующие структуры.

Пустая желтая комната. Даже скорее золотистая. Кажется, что попал в компьютерную игру, можно бродить по лабиринту и собирать золотую пыльцу. Конечно же, я

неподвижен, хотя возникает чувство скорости, возможности быстрых перемещений, блужданий, извилистых дорог, поворотов. Где? Ничего ведь не видно, то же самое бесцветное пространство, слегка подкрашенное изнутри. Смотришь в подсвеченную пустоту и чувствуешь, что каждая капля проявленного пространства содержит множество возможностей. Здесь можно добывать и скручивать волю. Хранить будущую волю как свернутые дрожжающие пласты. Добываются они с помощью внимания. Внимательно вглядываешься в бескрайнее свечение, мысленно бродишь, увеличиваешь, распрямляешь видимое. Хотя там не во что вглядываться, кроме появляющегося в глазах блеска. Из него и можно вязать будущую волю. Время как-то течет, и если не терять сосредоточения, проступающий пласт сам начнет скручиваться. Из свечения собирается сок, который засыхает и становится похож на огромные куски фруктовой пастилы. Собранная пастила станет тканью проявленной воли.

Пустая красная комната. Она вся в мелких сосудах, струях, пронизана тонкими течениями. Здесь можно собирать память. Кровь — это и есть память, она разлита по всему видимому пространству. Но здесь не получается описывать ощущения, как только проникаешь в детали и пробуешь их зафиксировать, приближается яркий слепящий сгусток, он поглощает. Ничего болезненного, но ощущение сбрасывается, приходится начинать с самого начала. Снова пустая красная комната, вся пронизана течениями, их не видно, они присутствуют как уже сложенное понимание. Лучше расслабиться и поплыть по багровому закату, по теплой реке с нежными переливами. А расслабиться невозможно, потому что никакого на-

пряжения нет, нет еще ни воли, ни памяти, ни внимания. Все будет. Появятся средства передачи ощущений, языки, воспоминания, можно будет гадать, рассматривать. Это не просто обещания, все это будет — без сомнений. Из утренней росы и пыльцы склеится красивый чуткий мир, с идеями, волей и памятью, а череда цветных комнат останется далеким видением, вспыхивающим как намек на предысторию воспринимаемой реальности.

16

На покрывале нарисовано вчерашнее путешествие, иерархии вложенных треугольников, вогнутые, кружевные фрагменты, задорные узорчики по краям. Будто покрывало все записывало, наблюдая за происходящим, копаясь в ощущениях. Карты-симметрии-цвета, места беспокойства, зоны тошноты, моменты ужаса — черные впадины внутри треугольников.

Есть трюки с предсказаниями, крайне популярные в среде иллюзионистов. Сначала выносятся коробка-шкатулка-конверт с записанным предсказанием, затем задаются вопросы зрителю, а в конце оказывается, что его ответы совпали с тем, что ожидалось. Назови город и дерево. Тверь и кедр. Все верно, на заготовленной заранее бумажке были написаны именно эти два слова. У зрителя может возникнуть паника, ощущение, что его волю похитили. На самом деле, эти фокусы крайне просты.

Если покрывало — предсказание. Оно ведь лежало здесь «до», но не обращало на себя внимания. Вещи обращают

на себя внимание не только через поломки, но и через внезапно читаемые сообщения. Вещи обращают на себя внимание через предсказания! Через трюки, организованные невидимым иллюзионистом. Твои ночные кошмары оказались заранее записаны-закодированы на стене, на потолке, на полу. Воля не была похищена, просто вчера не умел читать, а сегодня научился. Хочется найти объяснение, разгадку трюка. Может быть, вход в кошмар происходил через стену, диван, пол? И вибрирующая мозаика была частью видимого? Но нет, это слишком. Время кошмара и время покоя имеют разное мышление, и, если вчера происходило вхождение в покрывало, сегодня бы это не считывалось как карта-антикарта, а казалось бы глупостью. Знаковые напряжения сбрасываются как при сексуальном акте, сознание погружается в выкручивающий, вьющий, сверлящий оргазм, после которого наступает символическое отмирание, вхождение в звенящий покой, лишенный кривых дорог и кружев.

Нет-нет, все же есть простое «объяснение». Паттерны, присутствующие в жилище, селятся в сознании в виде дремлющих потенциалов, и при нужной психической активности, словно семена, прорастают, образуя улицы-районы-города странного путешествия.

Есть еще один сюжет, не из снов, а из непонятных воспоминаний. Смотрю в окно, явно это четвертый этаж. Во дворе много людей. Бегают дети, на скамейках у подъездов общаются бабушки. Неподалеку большая помойка, в

которую выбрасывают мусор жильцы сразу нескольких домов. Там часто появляются люди с лыжными палками, они приходят в определенное время, копаются, затем исчезают. И вот, там находится человек, лет шестидесяти, с худощавым лицом, в грязной куртке. Узнаю его, он приходит уже третий или четвертый день. Он собирает картонные коробки, тряпки, палки. Рядом с помойкой он выстраивает из найденного непонятную фигуру. Мусорная машина, приезжающая по утрам, эту конструкцию не трогает. Работает он без спешки, тщательно перевязывая, перекручивая, складывая фрагменты. Может сидеть полдня над мелкой деталью, что-то рвать, прикреплять. Никто его не тревожит, не прогоняет. Пытаюсь разглядеть, что он строит. Появляется подобие крыла, торчащего из мешанины. Дальше кажется, что я подхожу к нему и спрашиваю, что это такое. Хотя я вряд ли подходил, скорее всего кто-то другой подошел, а я уже спросил у него. Человек отвечает, что строит тело птицы. Не птицу, а «тело птицы». Это хочется описывать так, будто оно происходит именно сейчас, включая в «сейчас» и описание типа «он приходит третий или четвертый день». После построения «тела птицы» нужно будет ждать, когда в ней поселится душа, тогда эта несуразная конструкция сможет взлететь и посмотреть на нас сверху.

Ночью, когда никого нет, подойти и взглянуть вблизи на эту странную сборку. Если тело, то и глаза, и перья. Вмesto перьев куски оборванных выброшенных занавесок.

На следующее утро все исчезло. Никаких следов конструкции, никаких коробок, тесемок, прутьев. Будто ночью этого человека с его сооружением вывезли, а на этом

месте вымыли шампунем асфальт, чтоб блестел и не напоминал о том, что было последние дни.

Если идти в сторону болот, за последними пятиэтажками, начнутся маленькие домики, а за ними огороды. Вернее там раньше были огороды, а со временем они начали гнить, кто-то скрутил заборы, они превратились в заросшие области, с покосившимися будками, разбросанными пленками от теплиц. Настоящий отброшенный мир. Одно время туда уходили те, кого выгоняли из квартир за неуплату, селились там и пропадали. Там легко пропасть, лечь в сорняках и уснуть — никто не найдет, трава сама похоронит.

Эти места у меня вызывали чувство жути, но не из-за тамошних людей, а из-за собак. Идешь там днем или ночью — неважно, в любой момент может наброситься стая. Один раз мы гуляли с Р.К. близко к тем местам, собака семь, слившись в одно рычащее существо, понеслись к нам. Р.К. поднял лежащую на земле палку, побежал на них с похожим рычанием. Они развернулись и убежали, а он захохотал. Когда он там поселился, стал ходить с увесистой цепью, крутить ее как колесо.

Среди собранных, обмотанных жилищ, можно встретить странные конструкции. Неработающие лампочки, приклеенные картинки, пружины, покрашенные доски, коллажи из найденных предметов. Сразу подумал, что тот человек с «телом птицы» ушел сюда.

Если собранная птица взлетит над огородами, она поразится сложности границ, переходов, дорожек, застыв-

шим черным людям, бегающим собакам. Непонятно, как перейти из одного места в другое, где повалены заборы, а где нет, где опасно, где безопасно, где травяные стены, где скрытый простор. Это будет первым ее впечатлением. Все остальные пространства она будет сравнивать с увиденной сеткой отброшенных мест. Прилетит в город с четкими улицами и магазинами, и подумает, что там нечего делать. Она родилась внутри отстраненной местности и будет думать обо всем, пропуская впечатления через первый опыт познания мира. Эти сотканые клетки растерзанного одеяла — основа ее памяти. То же самое можно сделать в любом дворе, дать собаке погрызть одеяло, затем расстелить его, собрать из спичечных коробков и целлофановых пакетов птицу или стрекозу, запустить и сказать, что здесь ее родина. А где родина, там память. Эта память привязывает к себе. Когда птица будет умирать, где бы она не находилась, заросшие клетки с раздробленными границами, кривые разделения — все это вернется в ее сознание.

Их не так много — странных конструкций, но все же попадаются. Их тяжело назвать инсталляциями или арт-объектами. В них есть ритуальное ощущение. Кто-то выстраивал с трепетом, тщательно продумывая детали, приглаживая, вдыхая воздух, а вместе с ним и смыслы. Без зрителей. Сакральный коллаж, выстроенный худым человеком, ночующим в той же одежде, в которой ходит днем. С болотным ароматом, вкусом постоянно идущего дождя. Где, если не здесь, в тело птицы входит ее душа, позволяющая взлететь и взглянуть. Эти места останутся в памяти не просто как чувства детства, а как ритуальная земля, живительная, теплая.

Представляю, как тот человек выстраивал это соединение, смотрел и тихо хохотал, радуясь происходящему. Вот же — чистый бескорыстный ритуал. Правильно, что при- тащил все сюда, здесь скрыто от осуждений, от лишних взглядов. Сверху огорода похожи на кладбище, можно спутать покосившиеся заборы с поломанными оградка- ми, все разграничено, разбито кривыми тропками, такие же деревья и люди, рядом та же железная дорога, дальше — такая же река. А ритуалы совсем иные. И местность не холмистая, ровная.

У него лицо втянутое, в впавшими щеками, по движе- ниям медленный. Подхожу, смотрю, что он собирает. Спра- шиваю, что это такое. Тело птицы. Не по себе от такого ответа. Коробки, тряпки, газеты, пакеты, ремни, шнуры, банки, прутья, проволока, мешковина, все перевязано, пережато, как огромный кусок бреда. Если это оживет и полетит, напугает любого. Такие жуткие стрекозы не мо- гут летать. Или могут. Какая разница. Могут помнить и ценить память. Как я. И неважно, как оно мыслит, или как мыслит этот человек.

Рядом с девятиэтажкой. Куски асфальта, разбросанные по траве. Будто дорогу взорвали и она разлетелась по поляне. Напротив подъезда лежал Л. — на боку. Подошел к нему, спросил, чего он лежит. Он ответил, что отдыхает. Лицо по- старевшее, в морщинах и грязи. После тюрьмы он стал ти- хим и забитым, из него там выбили жизненность. Раньше

ходил и нервно зыркал на прохожих, а теперь просто лежит. Рядом встали трое, показалось, что его друзья. Л. сказал, что они работают здесь все вместе, занимаются стройкой. Что здесь можно строить? Все занялись строительством — больше нечем. Ты можешь что-нибудь строить или просто присутствовать. А здесь что строится? Здесь взрывается земля. Сейчас подъедет прораб, расскажет, что надо отрыть, какие трубы проложить. Сейчас все подъедут. Надо было что-то ответить, сказал ему, что тоже думаю заняться строительством, пройдуся, осмотрюсь, как отсюда выйти? А вот, друзья покажут. Те трое покивали.

Мы пошли в сторону леса. Когда уже подходили к песчаной стене, возникло подозрение, что они идут со мной не просто так, они сейчас набросятся и растерзают. Обернулся, а вместо тех трех человек были рычащие собаки. Те самые, с которыми приходят кошмарные воронки. Понял, что нельзя допускать тревогу, они за нее цепляются, если стать безразличным к происходящему, они не заметят и пройдут сквозь, а как можно остаться в спокойных чувствах, когда такое происходит. Надо представить себя на берегу тихого озера, соединиться с водной гладью, с небесной тишиной. Сейчас их лай превратится в протяжное пение, в медитативную приятную мелодию. Мне не нужно вас истреблять, сейчас разойдемся и займемся разным строительством, будем строить каждый свое. Нет между нами никакой оккультной войны.

Весна 88-го, вечер, я на работе у мамы, в санатории. На первом этаже сидит администратор, дальше столовая, а справа темный бар. Я могу ходить повсюду, как призрак, никто не обращает внимания. Могу прийти на кухню или

сесть в баре, посмотреть телевизор, или пошататься около огромной выбеленной стены. Везде свои запахи, можно перемещаться с закрытыми глазами и по запахам понимать, где находишься. Администратор звонит кому-то по телефону, и рассказывает о впечатлениях от какой-то телепередачи, говорит, что Людмила Гурченко выглядит не на свои годы, а значительно моложе. Ухожу и блуждаю по лестницам, местам, смотрю в окна, когда возвращаюсь спустя полчаса, администратор звонит кому-то по телефону и рассказывает о том, что Людмила Гурченко выглядит не на свои годы, а значительно моложе. Это не просто дежавю, а некий временной круг, полчаса сжались в мелкую петлю. В тот момент обращаю внимание на орнамент на стене. Мозаика. Смотрел до этого на эту мозаику, наверное, сто раз, но она оставалась незаметной. А в ту минуту с ней что-то случилось. Она осталась такой же, но словно зазвучала. В ней возникло послание о том, что скоро все это разрушится, вся система отношений и запахов. В баре не будет пахнуть куревом и кофе, останутся руины, известь и пыль.

Будет, как будет, лучше сейчас поехать на автобусе домой и лечь спать. По дороге домой можно представить, как мозаика соскабливается со стены, или поддевается чем-то острым и сдирается как кожа, а вместе с ней и предсказание.

Интересно, что не могу вспомнить каких-либо отдыхающих в том санатории. Сколько вспоминаю то время, всегда там полно работников: на кухне, в баре, в фойе, но нет никого из посетителей. Хожу по разным этажам — там пусто. Мама говорит, что скоро ужин, там накрывают сто-

лы, раскладывают блюда, и никто не приходит. Бар всегда полупустой, только барменша у стойки, работники и постоянно тусующиеся там люди — но явно они не отдыхают в санатории.

Один раз мама пришла домой с работы и сказала, что у нее сюрприз для меня. И не стала сразу рассказывать, а потянула время. Что-то такое классное! Меня это немного напрягло, заподозрил, что это не очень нужное. Она еще потянула время, а затем торжественно высказала, что договорилась с дирекцией санатория — нам как бы путевку сделают, мы там проживем как отдыхающие, будем ходить в столовую, в бассейн, смотреть кино. Мы стояли в коридоре. Я ответил, что не хочу этого, не надо это все. Пришел недовольный отчим, сказал ей типа «ну что, захотела добро сделать, оценили?» А я убежал в комнату и тихо про себя начал объяснять, что совсем не боюсь этого санатория, не то, что ходят невидимки, там просто пусто, это гигантская пустота, зажата стенами, поехать туда на неделю — это как просидеть в пустой комнате, ничего ужасного, но лучше без этого. Мама еще раз подошла, попробовала объяснить, что это интересно и замечательно, пожить и отдохнуть. Представилось, что мы будем единственными жителями в этой огромной больнице, ходить по пустым коридорам в столовую, сидеть в зале, существовать как в истребленной планете. Там нечего делать. Зачем отдыхать? Зачем отдыхают вообще? Устают жить. Это от страхов. А от страхов не избавиться сидением в пустоте, так еще больше устанешь.

Ночью, когда все спали, вышел на балкон и стал наблюдать за редкими прохожими. Если все разрушится, изме-

нится и ритм их ночных прогулок, и чередование машин, и тусклый свет, гаснущий в полвторого ночи. Произойдет преобразование шрифтов, плакатов, витрин, кирпичных кладок, языков. Но послание — далеко не только в том куске мозаики на стене, а в любом видимом фрагменте. Ночное движение случайных людей существует не сейчас, а вообще, оно содержит послание о будущем, не менее содержательное, чем то, в санатории. Не хватает чуткости, чтобы это считывать. Чуткое сознание способно видеть и прошлое, и будущее, глядя на любой кусок данности, на дрожащий свет фонаря, перемещение ночных птиц, или утреннюю дымку. Это кирпичный балкон красного цвета, можно взять любую область и в ней прочесть, что будет.

Спать я не лег в ту ночь, утром надо было в школу, отсидел там молча, а после пошел не домой, а в старый двор, сказал там, что кое-что понял, а что именно понял, нет возможности высказать. Ночью стоял на балконе, в какой-то момент внутрь впустилась некая цельность. Не похоже на измельченное и детальное, оно скорее как общее и вневременное. Подошел один из старших, спросил, что я понял? А я выставил в бока руки и согнул их, чтобы они болтались, как у деревянной куклы, захотел так показать, что данность уже знает о своем разрушении. В сине-черной куртке. Как хорошо, что ты это понял.

Когда шел домой, смотрел по сторонам. Повсюду были люди, показывающие телами то же самое, они шагали с прямыми ногами, зависали около заборов и показатель-но ломались, совершали резкие движения. Целый тан-

цевальный спектакль, только без музыки и песен. Все своими движениями намекают на то, что знают о том ночном впечатлении. Так обычно, если идти по улице и внимательно смотреть на людей вокруг, заметишь, что они знают твои тайны, поэтому лучше держать не стыдные секреты.

19

В детстве Митя часто себя странно вел. Сворачивал губы трубочкой-дудочкой, ложился и трясся. Но делал это все в игровой форме, нелепо изображая приступ. Первый раз когда это увидел, открыто рассмеялся, действительно, это показалось смешным. Затем Митя повторил все то же самое. Снова посмеялся. Явно ведь это не настоящий приступ, не может же он закончиться за полминуты. Но вскоре стало ясно, что... да ничего не стало ясно — никто толком не понимал, почему Митя так часто это повторяет. Уже никому давно не смешно. Видимо, не может так не делать. Своеобразный неврастенический жест. Бывало, стоим, уже не обращаем внимания, что Митя лежит и трясется.

Митя позвонил знакомой, попросил пропустить нас в подвал, пришли к месту, она молча проводила, открыла дверь, посмотрев прозрачными глазами, идите в. Это лабиринт, в котором можно остаться навсегда, если не зацепиться за знаки, целый подземный город с миллионами дорожек, стен, заборов. Там, где окна, раскрывается вид на верхнюю реальность «снизу», так можно смотреть на дно мира.

Как спустились, сердце заколотилось, от предчувствия иного, распределения света, узости видимого, нависающего неровного неба.

Бледная лампа облеплена мошкой — мелкими подвижными точками. Насекомые слегка отрываются от поверхности, перемещаются, садятся на соседние места. А под лампой тьма, ее света хватает только для освещения себя, она висит как усталый догорающий кусок прошлого.

Митя поморщился, собрал внутри рта слюну, харкнул вниз, попал себе на ботинок, потупил на харчу, прошептал «сссука», подергал ногой, чтобы сбросить. Митя — наш проводник, он немного нервный, потому что все немного нервные, и когда сильно напрягается, слегка звенит, как металлическая полость. Если прислушаться, будет гул из Мити.

Показал на следы на стене, отеки, отпечатки водяных процессов невесть какой давности. Это мои братья, их много. Расколотые, треснутые фрагменты, он провел рукой по ним и сказал вглядеться. В них надо вглядеться как в зеркало, эта стенка — зеркало, на ней изображено лицо, только не внешнее, а скрытое за обычным лицом, здесь какие-то повторы, без повторов нет описания. Как пыльца отделяется от древесины и сливается в нечто липкое, осязаемое кожей, втираемое во взгляд. Так и можно увидеть себя в мелкой грунтовке, будто был замурован в эту стену много лет назад, и проступил жидким «я» сквозь бетон и известь. И если оно как зеркало гладкое, это благодаря спокойствию.

Все, я не могу больше мыслить. Митя и цыган смеются надо мной, сползаю на землю и обхватываю голову.

Теория хоров.

Замки из мокрого песка.

Копошение в брошенном.

Свободные конструкторы.

Время внутри бреда, время внутри кошмара (время способно стучаться)

миры полутеней

отравление солнцем

география магических городов

Довольно часто приседал, обхватывал руками голову и открывал рот, беззвучно крича, как бы направляя крик в себя. Словно прячась от взрыва или вопя от ужаса. Всего секунд на пять-семь, если смотреть со стороны. Затем выпрямлялся и снова становился нормальным. Как нервный тик. Как контуженный, в которого снова и снова возвращается война.

Надо ценить эти состояния.

Митя и цыган захлебывались хохотом, уже не ржали, а беззвучно дергались, глядя на меня, ползающего по дну.

Мы сидели около станции и смотрели на поезда. Казалось, что товарные составы бесконечны или закольцованы, они ползут как гусеницы, у которых склеена голова с хвостом. Вагоны гремели, а мы кричали, вопили в воздух, поддерживая грохот. Казалось, что мы тоже едем по кругу, только этот круг солнечный или лунный, гораздо больший.

В видимом определенно есть послание, только его не считать, даже если сосредоточиться на тенях от разбитых зданий, клешнях спящих монстров, шипении деревьев, это произнесется на языке, далеко от привычного слуха. Замереть и заметить, что все наблюдают за тобой, ждут, когда ты расслышишь и прочтешь. Здесь и ритуалы, связывающие, подобно цепям и жгутам, движения и звуки, и предчувствия, и перемены освещения. Ритуалы обрушенных, растерзанных заводов и фабрик происходят через наложения теней, как и их общение, так они перемещаются, круговыми движениями затемняя землю.

Легкий, еле существующий призрак нежился на солнце, прогревая свою исчезающую телесность. Он как пропитанная маслом бумага.

Когда их много, они напоминают белье на веревке, болтающееся на ветру, или кишаших стрекоз, тлеющих от прикосновения солнечных лучей. Если подбежать и накрыть целлофановой пленкой, они пройдут сквозь, надо пленку сначала смазать растертыми цветами. В. рассказывал, что тех, что находятся чуть ниже, можно хватать руками,

лепить из них снежки и швырять. Они как слизь, только не капающая, а густая. А с этими так не получится, у них просвечены телесности. Когда идет дождь, их порядочно промывает, и нужно тонкое зрение, чтобы замечать, а если бы лилась с неба не вода, а нечто маслянистое, очертания прорисовывались бы четче.

Эти места как гигантская губка, меламиновая или из поролон, мягкая и пористая. Внешне — обычная природа, пустырь, втопанная трава, смешанная с естественной грязью, а внутри волокна, широкие впадины, в которых можно ютиться. Губка — дышащая субстанция с влажными и сухими зонами и пульсом. Сдуваемые призрачные тела застревают в порах между волокнами, оставляют липкие следы.

Видимое как смятая простынь, с небрежными складками, и оно станет удобрением для нового мира. А нам уготована участь темных предшественников будущих странных людей, магов и шептунов. Жители нового мира, когда придут в подобные места, словят наши взгляды и суждения, только не явно, а через еле уловимые ощущения. Им покажется, что кто-то об этом уже думал, и этот кто-то сидел здесь и смотрел на поезда, как на ползущих гусениц, и этот кто-то не сгинул, а растворился в ощущениях.

У Г. лицо вытянутое и жалкое, как у суслика. Увидел его в автобусе, он смотрел и указывал собой, что меня заме-

тил, что надо как-то рядом сесть и поговорить. Кивнули друг другу. Он сам подошел, сел, спросил, что как. Можно сказать, знаю его сорок лет, он всегда где-то присутствовал, хоть и редко проявлялся так прямо. Что как? Кажется, у Г. тело уходит в пол автобуса и сливается с ним, не видно ног, длинное пальто как у деда мороза, только черное, он не ходит, а плавает. Слишком тяжел и фиксирован для призрака. Он не призрак, а обычный человек, когда он подошел и сел, поймал себя на мысли, что не вспоминал о нем лет пять, а когда вспоминал, думал, что его уже здесь нет. И запах от него не гнилой, как бывает от пропойцев или бомжей, а жженный, будто он коптился на костре. Вгляделся в него внимательнее, чтобы убедиться, что он живой, а не мерцающий.

Г. сказал, что можем выйти на повороте и он кое-что покажет. Старые дома, в одном из них он раньше обитал, а теперь там пусто. Теперь там стены и продуваемый свет, светящаяся пыль. Заметил, что его глаза покрыты оставившимися слезами, как утренней влагой, слезы не стекают, а находятся. Выйдем на повороте и пройдем в пустое пространство.

Когда вышли, показалось, что все это уже было, уже случайно встречались, выходили в этом же месте. Г. блеснул мокрыми глазами, указывая, типа какая печаль, что все разорилось. Ни хозяйства, ни быта. Все сгорело в пожаре, в том, что закоптил тело Г.

Мы встали так, чтобы были видны дальние постройки. Небо красивое, зеленое, растянутое по себе, как нарисованное, надо смотреть в сторону обрывка леса.

Произошел щелчок, на место обычного видимого наклеили его же изображение — сложно понять, как такое увиделось. Справа, рядом с развалом, появился силуэт птицы, он стал двигаться влево, и увеличиваться, при этом, не приближаясь к нам. И по мере увеличения, он менял форму, становился все более круглым и по ощущению плоским, превращался в пятно, приклеенное к куску неба. Как кровавая луна, только налитая не красной, а бирюзовой кровью и машущая краями своего тела.

Г. сказал, что это пятно можно вырвать из неба и съесть. Назови его как хочешь. Хоть телом неба. Он стал вглядываться и хохотать. Хорошо, что развеселился. Хотя смех показался немного нервным — как будто его заставляют смеяться, а он сам не хочет. Похоже на внутренний шелест, а не смех. Вряд ли ему весело, скорее тяжело, кто-то трясет внутри. Возможно, и не он говорит, а некая шелестящая сущность — запутанная магнитофонная пленка. Даже не хочется думать, кто через него общается. И что нам делать с этим пятном? Гадать? Или просто радоваться, что увидели такую необычную ползущую штуку?

Август 93-го. Мы в деревне, в нашем доме. Тетя Тоня сидит на стуле, я стою перед ней и рассказываю о грядущем царствии. Она вздыхает, испуганно поглядывает, а иногда и прямо произносит «ох-ох-ох». Укутанная в платки, в сапогах, внимательная. Рассказываю о пятидесятнице

и начинаю молиться на иных языках. Тетя Тоня вздыхает еще громче. Потом подходит к бабушке и спрашивает, не попал ли я в какую секту. Бабушка косо смотрит, ничего не отвечает. Если скажет, что попал, сразу по соседним деревням разнесут и лишнее наговорят. Потом, чувствуя настойчивость вопроса, отвечает «да не, какая там секта, просто такой вот он». Это что, все православное? Ну да. А что такого? И в церковь ходишь? Да. Ну, тогда хорошо. А в секты не ходи, они тебе ум запутают, сделают его как нитки в распущенном носке.

23

[17 марта 1992.] Леша выскакивал из-за деревьев, пел «Аллилуйя», и прятался обратно, как промокший лесной эльф. Худой, носатый, с выражением лица, будто знает какие-то секреты и сейчас их расскажет. И он такой не один, целая улица, множество тихих и блаженных, таящихся за деревьями, сшивающих собой внешний мир. Леша Аллилуйя как звонкий беспомощный ангел. Там открывалась библейская школа и я всей внутренностью мечтал в нее попасть. А когда рассказал дома, услышал, что у нас денег нет даже на еду, какая там школа. Ночью рыдал, калачом сворачиваясь на кровати, не верилось, что деньги могут отделять человека от школы ангелов, даже наоборот, богатых туда не должны брать. Там нет стен, столов, стульев, ученики учатся, глядя на земные и небесные кресты. Кресты повсюду, знамения и благодать, как снег и дождь, только внутренние, промывающие смыслы. Меня не примут в школу не из-за отсутствия денег, а из-за отсутствия цельности восприятия.



[17 марта 2012.] В. вернулся из Марокко, позвонил, попросил прийти и подробно расспросил об ощущениях последних дней. «Страшный текст об инициации» — там было звездное небо и темные деревья, возможно, Леша Аллилуйя выглядывал и прятался обратно. В. сказал, что духи ему шепнули, что меня приняли в школу. Ты знаешь, что это означает???? Тебя приняли в школу. Скоро в дымке появится город, в городе сад, в саду пруд, в пруду память, жемчуг, тишина, на берегу золотые улицы, быть в школе тяжело и трепетно.

В. сказал, что теперь мне будет плохо, лучше мне пойти в церковь и помолиться. Тем, кого берут в школу, становится плохо.

[18 марта 2012] Вечером, уже ближе к ночи, зашел В. вместе с подругой. Они сели на диван, я достал три игрушки: льва, ракету и кита, и спросил, кого они выбирают. В. выбрал ракету, сказал, что она — самая мощная, а я льва. Затем мы втроем пошли гулять по темному пространству. В. сказал подруге, указывая на меня: «в нем очень много мудрости, я сам не понимаю, почему, и как так вышло, откуда она в нем появилась». Затем В. начал показывать звезды и говорить, что он все изменит.

Зашли к нему. В. достал альбом с рисунками. Скандинавские лешие, домовые, гномы. Сказал, что порой пересматривает, листает, указал на смешного получеловека с оттопыренными ушами. «Думаешь, просто жить с такими ушами?» — и задорно рассмеялся. С такими ушами надо скрываться от людей.

Магическая война проигрывается всегда. Возможно, это не так. Хочется взглянуть на победу в магической войне, особенно на то, что было «после». Как победивший вернулся в мир и стал спокойно жить. После того, как он вернулся из дальних странствий, после того, как его амулеты сработали, после того, как его укрыла речка, как он планирует «жить-поживать». Он встретит старость, мудро и морщинисто глядя на закат?

[Фрагменты (конец 2012):

Шоу на облаках. На облаках показывают короткие клипы.

Лапы, ниже колен каких-то сказочных животных, с когтями. Частично без кожи в поразительных анатомических подробностях — в цвете, мышцы, связки множества мелких деталей. Часть лап с золотыми грубой выделки кольцами на них.

Окрашенные струи в воздухе остановились. Они обычно существуют как переплетенные тонкие прозрачности, подвижные. И вот, они остановились.]

«Паноптикум», «заплатки» — его термины.

По словам В., паноптикум вставляет заплатки в сознание человека, не позволяющие ему докапываться до настоящей структуры мира. Этими заплатками могут быть ощущения свободы, истинной природы, чистоты и любви. Для полноты блокировки заплатки снабжаются зацепками реальных чувств.

Мы спорили. Мне казалась сомнительной картина многослойного пирога с кишасим зоопарком, столь существенно влияющим на осознание человека. Пирог пирогом, а любовь любовью. Никто не мог никого убедить.

Магической войной прорваться в середину, сдернув заплатки, разворотив паноптикум. Как это мыслится вообще? Типа ты не можешь это помыслить из-за очередной заплатки. И концепция заплаток может оказаться заплаткой.

Здесь есть место человеческой воле. Это место обнаружить не проще, чем отличить алтарь от неалтаря, священное от несвященного. И мое возражение касалось человеческой воли. Тяжело представить, что деревья заплатки ставят. Человек мечется по роще, окруженный деревьями, влияющими на его познание. Дерево за окном не позволяет мне понять нечто, навязывая свою волю и заклеивая ходы к тайному заплаткой приятности. Так и паноптикумом. Воля паноптикума далека от воли человека по природе, и выставляемые заплатки могут касаться некой игры, в которую человек входит сам, через интерес, но не могут касаться сущностного.

В. сказал бы, что я сейчас занимаюсь сентиментальностью? Мы бы снова спорили о входе в мир с другой стороны, о воле и беспомощности. Он бы снова рассуждал как ученый, а меня бы это выбешивало. Мы бы кричали друг на друга, обвиняя в непонимании.

Чему учат и чему не учат в школе? Явно показывают не причины, скорее передают навыки. Причины прячутся,

как и везде. Кстати, в Wille zur Macht причины показывались некими заплатками, скрывающими чувства воли и свободы. А у тебя наоборот. Но есть и близкие интонации. В WzМ успокоение происходит через обнаружение старого в новом и это предстает типичным обманом. Ты говоришь об успокоении при получении комфортной картины мира. По сути вы оба говорите об издевательствах.

А в школе не издеваются?

Подведение к исследованию мира и магической войне — не издевательство? Хищение мышления посредствомкармливания приятных исследований.

Мы с В. гнали друг на друга, он говорил, что я заполнен религиозными стереотипами, а я говорил, что он заполнен стереотипами просвещенческими. А создание эзотерических систем — не более чем заплатка, очередное издевательство.

Мы сядем и создадим работающую эзотерическую систему. Мне, собственно, не важно, будет ли она выглядеть работающей. Лучше бы она выглядела застывшей и опустошенной. Это не та причинность.

Невнятные карусели, изношенные, скрипучие, построенные много десятилетий назад.

Та часть, что захватывала колесо обозрения, начала увеличиваться, но не плавно меняя размеры, а сущностно захватывая пространство. Это колесо не придавит, а поглотит. А если дождаться рассвета, «часть» сольется с проступающими лучами, размякнет и покроет, как мокрое одеяло.

Казалось, мы с В. стоим и ждем появления первых лучей.

Колеса обозрения как круглые черви, вырывались из земли, вертелись — мелкие и гигантские, проходящие друг в друга. Если в них взглядеться, они превратятся сначала в часы с лениво вращающимися стрелками, а затем, когда уже остановятся, в засохшие цветы.

Как же я рыдал, носился по комнате, падал лицом в одеяло, не мог понять, как такое произошло. Магическая война должна была затянуться и стать незаметной, скучной. Нельзя было так резко все оборвать.

Дальше был двадцать пятый день. Он сказал, что ему пора. Указал видом, что действительно пора, больше не стоит задерживаться, впереди много дел. Разогнался и исчез.

[23 ноября.] Видел квартиру, в которой явно до этого не был. Необычное расположение комнаты, коридора, кухни. В комнату пришли двое, попросились переночевать, одного я знал, он за второго поручился, что это хороший человек и ему тоже необходимо там остаться. Я лег на кровати под одеяло, стал засыпать. В один момент появился В. Только тогда я понял, что это его квартира. Эти двое стали вести себя дерзко, бегали по комнате и хватали вещи. В. попросил меня сделать им замечание, я так и поступил, они присмирели. В. пошел по коридору, появились другие его родственники. Он был взволнован и растерян, было похоже, что что-то искал в этом доме. Я стал с ним разговаривать. Родственники встали рядом и стали внимательно за мной наблюдать. Понял, что они не

видят В. Подошла девушка, которой тоже раньше никогда не видел, какая-то дальняя сестра В., спросил ее, видит ли она В., вот же он, я показал прямо на него, она пожала плечами, и стало ясно, что это не первый раз так, В. общается с ними через некоего медиума и в данный момент это я. Внезапно он исчез, хотя было ясно, что он остался на месте и я понял, что есть разные режимы видения, и в данное мгновение я его не вижу, как и все они. Он стал видим, прошел по коридору (там была лестница, ведущая на второй этаж, вероятно, его новый дом в П., в котором я никогда не был), сел на диване. Показалось, что ему очень тяжело. Он снова исчез и затем проявился. Люди стояли у меня за спиной и испуганно смотрели. Он повернулся прямо лицом ко мне. Я перекрестил его три раза, повторяя молитву и проснулся.

[6 декабря.] Сон удивительной яркости и деталей. Впервые с того времени, впервые за год, увидел В. Я пришел в некое место, там были ряды и комнаты. В одной из комнат сидел В. На мне была одежда, которой не может быть, свитер с треугольным вырезом и рубашка, и волосы, ровно зачесанные на бок. В. начал рассказывать о процессах, и по мере его рассказа все произносимое проявлялось как видимое, будто там стоял телевизор и это транслировал. Огромная водяная поверхность типа озера, с плавающими листьями, а на листьях маленькие белые комки-семена, слегка содрогающиеся как сонные червячки. Из этих комков создаются белые цветы, только это не совсем цветы, скорее чуть прозрачная ватная или плотно дымовая субстанция, паутина, скопление туманов. В. сказал, что уезжает, и я могу побыть в том месте, если мне надо. Встал и осмотрелся. Квартира, в углу кто-то спит, на-

крытый одеялом, а над входной дверью висят портреты (явно родственники В.) — большие черно-белые фотографии со строгими лицами. В момент разглядывания изображений, в квартиру вошли двое, удивились, что я там и сказали, что это место необходимо покинуть, там нельзя находиться.

[20 декабря 2013 В.В. прислал письмо с ссылками на отсканированные страницы Библии 10-го века из ватиканской библиотеки и спросил про цвет нимба, где можно почитать.]

Загробное как ряды и комнаты, и фотографии, висящие над дверьми. И «оно» не разъедаемо временем, скорее время может шевелить и пошатывать застывшие фрагменты. Видимое можно качать туда-сюда, в прошлое-будущее, присматриваясь. Когда показывались водные пленки из листьев, был определенный звук, озвучка, фон. Не цикады, но что-то мелкое, плотное, сопровождающее процесс создания пыльцы-тумана-облаков. Смотрящие прогоняют оттуда живых и, судя по их спокойствию, живые часто заходят.

Место, заваленное раскрошенными стенами, походило на пещеру. Н. смотрел на раскрывающийся простор, прячась внутри, выглядывая и застывая. Если подойду ближе, на меня набросят сетку, отволокут обратно, чтобы наблюдал издалека. Мелкие и быстрые, как муравьи, только плотнее и объемнее, они контролируют взгляд наблюдателя, не позволяют приближаться к сокровенным зонам.

Трудно помыслить их индивидуальную волю. Скорее это большое тело, склеенное из саранчи или moskitov, сознание которого ограничивается границами, территориями, зонами, распределением. Если подходить медленно, они так же чутко будут реагировать, придавать пространству тяжесть, выдавливать из него.

Дальше начинаются пятиэтажные дома и куски пространства, зажатые между ними. Один раз шел мимо и услышал, что кто-то звонит в домофон, посмотрел — никого, у соседнего подъезда то же самое, и дальше... невидимки пришли к дому, ко всем подъездам, и стали набирать номера квартир. Звуки домофонов сложились в едкий звон, это пришел кто-то растянутый к кому-то живущему вообще, позвонил и ждет, что ему откроют — сразу везде.

Н. стоял у помойного озера и кормил невидимых птиц. Подносил ладонь с хлебом к будто сидящему на воде существу, а другой рукой гладил перья. Это даже не озеро, а канава, куда сливаются нечистоты округи. Закрытое, пахучее. Эти птицы видны лишь после сумерек, а в солнечных лучах они растворяются и становятся прозрачными. Спросил Н., почему они живут среди грязи, Н. ответил, что это не грязь, грязь в человеческих сердцах. Представил, как плюхаюсь в эти нечистоты и обхватываю странного чудо-лебеда, бестелесную сущность, ночную жар-птицу. Как их можно покормить? Н. отсыпал крошек, я поднес ладонь и закрыл глаза. Не почувствовал ничего необычного, ника-

кого прикосновения, и внутри глаз — обычные световые мельтешения. Здесь никого нет. Грязи тоже нет, никаких запахов, просто протяжное существование.

Пустая комната.

Воздух слегка мягче, но и плотнее обычного, это чувствуется не только по дыханию, но также по перемещению мыслей.

Скорее ощущение, что провалился в ванильный крем. И мышление стало перемешиванием крема, с порами, редкими пузырями, спиралями. Крем можно поддеть пальцем и оставить зависшую на пару мгновений в воздухе волну, плавно стекающую в себя.

Открыл глаза. В воде по пояс. Вода чистая и прозрачная.

[кормил птиц — гладил швы?]

Грязный жидкий снег под ногами, везу санки, рядом промзона с перекрытыми частями, переделанная в ангара для торговли железными прутами и обручами. Гигантские обручи свисают с крыш, заманивая покупателей. Зачем они нужны — даже не помыслить, если их так много, и они на виду, наверняка зачем-то нужны. Из обручей можно делать зонты, подвесные конструкции. Кстати, может быть, их используют для строительства куполов. Слева по взгляду от ангаров небольшая роща, все деревья неподвижны, будто мертвы, а одно, в густоте,

припадоочно гнется и мечется, как при урагане. Ураган не касается остальных деревьев, а это изживает. Возникает даже ощущение, что ветер находится внутри этого дерева, как подвижная кровь, терзает его. Если бы его трясли снизу, оно бы так по верху не изгибалось. Снег — как снег, обычная жижа, неважно, какая обувь, ноги намокнут. Прутья, обручи, внутренний ветер, все вклеено в холодное серое небо, вклеено и зажато, чтоб не разваливалось. Эта реальность спрессована из молчаливых слоев, и ты в ней — как прихлопнутая мошка внутри желтой отсыревшей книги, выброшенной людьми на далекую помойку.

Н. рассказывал, как по местам ходят подсвеченные прозрачности, отчасти похожие на цветные струи В. Мне всегда было интересно, что, если отвернуться от них, достать зеркало и посмотреть назад через него. Они вряд ли отразятся, но может такое случится, что увидится другое, новое. В американских фильмах так показывают, стоят заключенные в камерах и держат зеркала через решетки, чтобы было видно, что происходит в коридоре. Здесь похоже.

Небо втянуло в себя все видимое. Деревья, снег, влага, все стало дрожащим от натяжения. А звук стонущего ветра — звук втягивания. Гигантские губы складываются трубочкой и вдыхают события. И события разрезаются не временем, а дыханием.

Что находится за кладбищем?

За кладбищем находится река и речной порт. За любым. Иногда река и порт видны или ощущаемы, иногда прикрыты занавеской.

Совсем непонятно, что там с памятью. Там ничего не слышно. Нет никаких звуков.

Любого смутит это «за», навязываемые пространственные интуиции, ясно, что это «за» не там, где мы обычно ищем.

Иногда кажется, что «за» находится тот самый город, окруженный водой, с узкими дорогами и сложными храмами, со стенами, присутствием и движением. Если принять это «кажется», склеится интересная картина. Река и речной порт, а дальше начинаются храмы. Стены, темные помещения.

Итак, захожу в квартиру на втором этаже и спрашиваю, можно ли мыслить мир через отношения к иному. Здесь есть момент преодоления боли и давящего времени. «Самая большая фобия — оказаться на незнакомом кладбище» преодолевается внутренним замечанием, что знакомых кладбищ не бывает, каждое присутствие выстроено в новом «ином». Ничего страшного в этом нет, и даже в невозможности это полноценно помыслить.

Если поддеть всю эту слоистость и вскрыть, как зудящий ноготь, всю пластину, содержащую кладбище во снах, ряды и блуждания, вряд ли захочется описывать то, что окажется «за». И если поддеть натяжение, временную травму, необходимость зарождения языка, системы привычек, похожие на пленки теплицы, раскрытое вряд ли уживется в мыслях. Но как не попробовать.

Даже молчаливое величие порождает торжественность. Величие для меня — гигантский ансамбль, снегопад или ураган. Величие присутствует вместе с прославляющим себя оркестром.

Оно никогда не восхищало, а стремление к нему вызывало недоумение. Как стремление лежать на великом кладбище.

Стремление к величию требует трепетного отношения к своей существенности.

Великий крик, великий шорох, великий шепот.

Величие мира проявляет себя в звуках и оттенках и делает причастным каждого воспринимающего. Но эта причастность приходит вместе с подавлением. Величие подавляет, когда осознается. Как ужас существования — это первое проступающее величие.

Воля к величию — ритуал торжественного существования и мечты о торжестве.

Воля к иному слегка растворяет величие. В ином смешаны и запутаны разделения. Когда ужас существования проступает через заклинание «я существую», его можно снять через «иное я тоже существует», «нея тоже». Похоже на беседу с гостями. Ответное заклинание может строиться как жест, и позже приниматься телом как привыч-

ка. Никто вокруг не понимает, почему человек так часто дергает плечом. А он отвечает на «я существую», разгоняя вокруг себя ужас. У него невроз. Этот невроз — ответ на подавляющее величие. Мир не имеет меры, снова и снова давит собой, мир — навязчивый гость, не желающий прекращать общение.

Невроз порождает язык. Клиники неврозов заполняются ответами на «я существую», на давящее величие.

Одно время у меня был невроз, заставлявший проговаривать слова про себя, при этом их нашептывая. И неважно какие слова, важна была беседа. Мог сидеть в пустом месте и выразительно произносить нечто. Если место совсем пустое, то вряд ли там появится такая необходимость, скорее оно не было пустым, а было скрытым. Можно повторять одно слово, оно проведет ритмический жест, позволит ответить на давление места. С кем говорю? Ни с кем, это вынужденное существование телесности. Поиск причин — похожее. Ты их выразительно нашептываешь. Из неврастенических жестов и ткется пространство причин.

Собираемое вокруг существования напряжение снимается нашептыванием.

Как на величие отвечают птицы и ангелы? Очарованно принимают, гордятся причастностью или выбирают?

В 83-м летом пошел снег. Не соль, а реальный, мокрый и холодный. Смотрел в окно и осознавал величие происходящего. Когда снег идет осенью-зимой-весной, он так

себя не заявляет и не притягивает людей. Здесь же он заявляет свое величие, превосходство видимых законов, своеволие и непостижимость.

Снег клеивается в жаркий день. Тихо, но торжественно.

Помню, как стоял у двери, ведущей на балкон, даже могу восстановить ее ручки, трещины на белой краске. В этом же месте проявлялся и выворачивался ужас, проступал язык, пространство делилось на страшное и нестрашное. Где можно было прятаться от взглядов портретов на стенах, и взглядов самого существования. Мне жутко от мысли, что могу вернуться туда, встать у балкона и снова увидеть летний снег. Если это и есть вечное возвращение, то оно кошмарно.

Оно кошмарно на первый взгляд, но жизненность его принимает и встраивает. Вскоре оно покажется интересным и важным. Когда еще появится такая удобная возможность склеить воедино раскрошенные ощущения, возможность сгладить травмирующие измельчения чувств.

Про «этого человека» — историю практически всю удалил. В последний момент показалось, что не стоит ее рассказывать. Как-нибудь в другой раз. Оставил только ее окончание.

Однажды «этот человек» попросил М. помочь — отвезти землю с юга на северо-восток.

Нужно было набрать земли на юге от города и отвезти к границе. Ехать там часа два с половиной. «Этот человек» указал дорогу. Там каменный лабиринт, который нужно было засыпать. Пока «этот человек» засыпал лабиринт, М. фотографировал процесс. Но в итоге кадры оказались засвеченными, и как так вышло, М. не может понять до сих пор, ведь это не пленка, а цифровой фотоаппарат. На изображениях были невесть откуда взявшиеся вспышки света, закрывающие собой и лабиринт, и процесс засыпания.

Эта история меня удивила. Что за лабиринт, зачем его засыпать, почему его надо засыпать определенной землей, которую надо везти издалека?

При следующей встрече попросил «этого человека» прояснить эти моменты.

Примерный его ответ.

Засыпание и раскапывание лабиринтов — метод взаимодействия с ними, типа прикосновения или поглаживания. Есть архетипические лабиринты, работая с которыми ты проникаешься структурой лабиринтов вообще, начинаешь чувствовать историю, конфигурации боевых действий. Можно работать с символическим изображением лабиринта, с его картой. Одни из самых важных и эффективных лабиринтов — кладбища, но далеко не все подходят для полноценной работы. Видимо, есть «пустые» или «опустошенные» лабиринты.

Кладбища как лабиринты. Пугающие места рядов, время туда-сюда, образование новых памятников, заполнение

пространства камнями, птичьи движения «по низу», быстрые перемещения, границы.

29.

Митя сказал, что покажет нечто забавное, надо лишь захватить. Там закрытый двор, не видимый с большой улицы, заворачиваешь и прячешься, дома так закрывают, что не найти. Со стороны реки сараи с лодками, с других сторон плотно стоящие двухэтажные дома-бараки. Похоже на арену цирка, с узкими входами-выходами.

Цыган тоже сказал, что меня приколит, если все будет как обычно — как он раньше не догадался меня сюда притащить. Мы встали по центру и стали ждать.

Дома-бараки казались пустыми, нигде никаких шевелений, ни в одном окне. Явно нет жителей, окна безжизненные, если и есть занавески, то отсыревшие от времени.

Кого ждем? Митя сдержал смех, молча указал, что все правильно, стоим, ждем. Кого? Похоже на осеннюю холодную рыбалку в озере, где вся рыба давно вымерла. А что, надо молчать, чтоб не вспугнуть кого-то? Непонятно, но скорее всего, звуки вообще неважны, можно хоть кричать. Кто-то должен прийти? Или во всех окнах должен одновременно зажечься свет?

Холодная осень, и, если так стоять, можно околеть минут за десять, а мы простояли уже больше. В момент, когда очередной раз предложил оттуда свалить, дверь одно-

го из домов распахнулась, появился маленький человек. Карлик, максимум по пояс. Он уверенно прошел мимо, скользнул в дверь дома напротив, не обратив на нас внимания. Митя и цыган довольно переглянулись. Мы его ждали? Да. И что? Можем теперь уходить? Можем, но сначала закрой глаза и взглядишь.

Закрыл. Была чернота с невнятным световым мельтешением, как обычно. Затем показалось, что в этой черноте проявлен красный силуэт и видится его движение. Ясно, что это тот самый карлик, только менее отчетливый, и идет он так же, как шел только что по двору, но это выглядит как движение красного пятна по черному пространству. Видишь его? Вроде, да. Он остался в памяти зрения и присутствует как светящийся комок, существующий сейчас, а не пару минут назад. А как это? Его же сейчас нет во дворе. Он запомнился внутренним зрением?

Он прошел внутри зрения, я открыл глаза, закрыл снова, это же повторилось, но с меньшей интенсивностью, показалось, что он идет по тем же местам, но более блекло, и кажется, что это уже след следа, а не сам светящийся карлик. Третий раз он уже был еле различим, прошел так же, как раньше, но уже почти растворившись.

Весь вечер думал об увиденном. А ночью погрузился в сон, оказался в том же дворе. Был ли там Митя и цыган — непонятно, вроде нет, но их присутствие или взгляды чувствовались. По освещению все пространство было темно-металлическим, медным. Из дома вышел карлик, тот самый, прошел мимо, заскочил в дверь. Затем снова, из того же дома, он же, или не он, а похожий, прошел и

скрылся. Еще один. И еще. Они ускорились, а вскоре превратились в подвижность, вереницу налезających друг на друга образов. Показалось, что они прозрачны и цепляют соседние телесности. Движущиеся пятна, то размываемые и превращающиеся в видимый ветер, то собирающиеся в отдельные движения. Поток невнятных фрагментов, не позволяющий себя зафиксировать.

Старший брат Мити служил пограничником и рассказывал нам про старое время. Мы часто сидели около их дома и слушали рассказы. Каждый раз спрашивал его, почему граница вообще важна и зачем ее охранять. Он отвечал, что, если не станет границы, начнется совсем безумие. Я его просил отвечать без «если», просто по данности, «если, то...» — это стандартное запугивание ужасным будущим. Когда нужно показать необходимость чего-либо, рисуют жуткую картину мира без него. Можно сказать, что граница красива? Он злился, объяснял, что граница — часть общего порядка, благодаря которому, в том числе, мы сидим сейчас в спокойствии и не распадается. Мы все понимали, что дело не в каком-то порядке, есть нечто, объясняющее важность границы, но в него не принято заглядывать. Возможно, туда стыдно смотреть. Стыдно вдумываться в необходимость границы.

Брат Мити часто вглядывался в места за границей. И не видел там ничего. Так он говорил, по крайней мере. Он рассказывал про старое время — не про то, что сам видел, а про то, что слышал от старших пограничников, которые

застали. Раньше там что-то было, виделось, двигалось, а затем исчезло, ушло в другое место.

Спросил, есть ли у границы величие. Брат Мити подумал, что я издеваюсь. Есть ли необходимость в границе, если за ней ничего не видно? Не видно — не значит, что этого нет, и еще там остается сама возможность. Там, где предчувствие присутствия, есть и само присутствие. Так же с временными границами? Границы времени позволяют заглядывать за себя через ожидание и предчувствие.

Когда места захватывают друг друга, сдвигая границы, они поглощают церемонии.

Границы смешиваются, налезает на себя. У птиц границы между живыми и мертвыми более временные, нежели пространственные.

Я слушал о границах, а внутри виделись картинки из мультиков. Винни Пух нашел гнездо, Винни Пух куда-то шагает, только не в экране, а во вклеенном поверх видимого круга. Брат Мити стоит на границе, а рядом шагает Винни Пух, шагает, не сдвигаясь, в облаке. Вокруг — отголоски утреннего копошения, белого шума. Границы склеиваются из блуждающих линий, дрожат, а затем застывают. Это застывшее и наблюдается.

В осеннем небе появилась рябь — окраска огромного существа, нависающего над видимыми местами.

Вклеенные круги с движущимися картинками остались, но в них не стало узнаваемых образов. Случайные на вид

пятна, перетекающие, вязкие. Неужели, Винни Пуха так расплющило от стыда.

Естественно, если убрать стены в домах, кому-угодно станет стыдно. Границы хоть как-то сдерживают, позволяют позабыть смущение. Смущение находится рядом со стыдом, как размытие.

Вспомнил еще один случай стыда. Среди дворов есть место, где все время стоят ведра с водой, люди подходят и вглядываются в отражение неба в воде, и оно там другое, не похожее на то, что над головой. Некоторые по этим ведам гадают. Когдаходишь, непонятно, какой кусок неба будет виден, какие очертания облаков. Дома там вокруг деревенские, и на вид брошенные, хотя в них и живут. Подходишь, смотришь, считаешь. Один раз, когда зашел в этот двор, слева появились люди, стали наблюдать, что буду делать. И с этими людьми появился стыд. Они стыдили своим присутствием. Человек десять, как один, подглядывальщики. И стало так стыдно, что захотелось исчезнуть. Они же наблюдали не за каким-то интимным актом, а просто за тем, как я стою рядом с ведрами и недоуменно смотрю на них. И куда стыдно смотреть: на воду или на них? Я же не гадать туда пришел, а посмотреть на тех, кто гадает или даже не на них, а просто так.

Спустился до второго этажа. Весь подъезд был заполнен дымом. Дым стоял в воздухе и не менялся, как укрепившееся присутствие. Вспомнил описание золотого жерт-

венника и странное поведение дыма, типа не иметь влияния ветра, запаха гари, не рассеиваться дождем.

Утром стало плохо, голову сжали с разных сторон, но не резко, а плавно, с некой нежностью. Стало тяжело дышать, двигаться и говорить. Меня бережно посадили на диван. Кто? Кто-то. Скорее всего сам и сжал, сам и посадил себя, только отстранился.

«Я» смотрящий, мыслящий, ощущающий — находятся в разных помещениях и помнят друг о друге. Отслоение себя от себя, и, если что-то произносится, оно воспринимается, как звучащее извне.

Там, в комнате. Текущие фрагменты наслаивались, отменяя друг друга. Дорога мимо озера, с большой трассы и до деревни, видимые домики. Остановки, рыжее небо. Имена, которые невозможно прочесть. Выход из северных врат, вход в южные. И везде дым, через дым пространство проявляет себя и общается.

В этом состоянии тихо и тяжело. Сейчас можно мыслить, а в обычных ощущениях — лишь укреплять помысленное. Сейчас видны слабости и то, как мышление отделено от существования. В такие моменты прислушиваешься к мельчайшему. Ладонями сжимают голову и позволяют вглядываться.

Закрыв глаза. Появились петли, идущие друг за другом. Кто-то вяжет шерстяной носок, и внутри глаз остаются следы.

Раньше мне казалось, что ритуал ждет от людей точности. Теперь же кажется, что человеческая точность его не интересует. Когда люди «проводят» ритуал, встает вопрос о жизненном пространстве. Есть ли место для его существования. Это не точность, а пригодность к присутствию.

Когда-то задавал вопрос о неверующем священнике, точно исполняющим обряд, и о верующем, путающем и переставляющем местами куски обряда. Кто из них прикоснется к ритуалу? Сейчас ясно, что второй, человеческая точность там не столь ценна. А вера не просто ценна, без нее нет дыхания.

Когда мы подошли, Н. спросил, могу ли представить, что в комнате будет переливающееся изображение. Были раньше такие календарики, на которых менялись изображения, в зависимости от угла зрения. Если смотришь прямо, глаз открыт, чуть сдвигаешь в бок, глаз закрывается, получается, что картинка тебе подмигивает. И в комнате. Может ли быть такое, что глядя прямо, мы будем видеть человека, а немного сместившись, птицу?

Вспомнил, как К. рассказывал про фокус. Комната, окна закрыты, ты открываешь дверь, видишь человека, закрываешь дверь, открываешь снова, видишь птицу. Человек не может спрятаться, там негде, и птица не может. Они превращаются друг в друга, а ты переключаешь форматы их существования открыванием-закрыванием двери.

Из дома вышли, в дом напротив вошли. Толпой. Никогда раньше такого не видел. И до, и после была тишина и пустота. Толпа появилась, молча прошла, последний захлопнул за собой дверь подъезда. Темная теплая ночь, люди бесшумно выходят из одного дома, заходят в другой. Дома двухэтажные, но не деревянные бараки как по соседству, а добротные кирпичные. В таком доме не так уж много людей может жить. Вообще возникло подозрение, что вышли и вошли все жители. Они живут до какой-то ночной минуты в одном доме, а затем все вместе переходят в другой.

На том доме, из которого вышли, была большая тень от дерева. Тени такими не бывают, она слишком четкая, как нарисованная, и проступает не как плоское наложение темноты, а выпирает. Как только толпа зашла в дом напротив, из соседнего двора раздался собачий лай. Тоже необычно, слишком густо и объемно, собака лаяла в рупор и звук приходил не как точечное укалывание, а обхватывал пространство, чтобы было слышно везде. Возможно, собака стояла между сухих стен, разгоняющих звуки. Место выпуклых теней и звуков.

Почему они так часто упоминают некую «комнату»? Комната — место, в котором чистое и грязное мерцают, люди превращаются в птиц, птицы в людей, все переливается и подмигивает?

Н. сказал, что комнаты возникают в местах провалов. Если пойти по окрестности, найдется множество вмятин, ям, вырытых не людьми, трещин. Земля втягивает в свою внутренность свою поверхность. Комнаты возникают как воздушные изоляции, и часто возникают «вместо» пустот.

Тот загаданный Н. ритуал, что я не смог разгадать, должен быть связан с комнатами. Те инженеры-щелкунчики, водящие хороводы, формируют пустоты, внутри которых зажигается свет. Это и есть загаданное? Все происходит на фоне разрушающегося психического каркаса, стона государства, разматывания существования? Н. ответил, что уже ближе, теплее. Там, сверху, видны звучащие тела, мы ходим по поляне и сливаемся в поющие комки, и причина распада в отношениях, в том, что мы не проявляем должной любви.

«Видимое сначала застывает, а затем крошится, как печенье.» Мир видимый и невидимый так же крошится, если он не склеивается любовью. Тело распадается из-за страха и ненависти к себе. Комнаты захватывают запутавшиеся фрагменты и позволяют им отдохнуть и подождать. В этом ожидании есть надежда мира.

Если мы сможем воскресить умерших друзей, сможем ли дать им нужную любовь, чтобы они снова не распались? Когда Н. спрашивал подобное, он ждал обнаружения новых чувств. Как ответить «да, сможем»? Никак. В нас много усталости и безразличия. И даже если будет день обостренной жалости к себе и миру, не получится взвалить на себя ответственность. Воскресшие друзья будут стоять и ждать от нас любви, а мы, испугавшись, прятаться в обстоятельствах.

Мы пошли с Н. в сторону болот, к озеру, где несколько лет назад выловили М.Д. Там места как из 50-х, ничего не меняется. Пожелтевшие от сырости дома и деревянные качели, а за ними заросли и шипение ветра. До озера дойти

не так просто, повсюду впадины, те самые, о которых Н. говорил как о втягивании земли в себя. Озеро — не озеро, а гигантская миска с мутным супом. Сколько там внутри разложившихся трупов, утопленных машин.

Встали рядом с озером. Н. сказал, чтоб я вспомнил, когда познакомился с М.Д. Мы тогда с мамой переехали на новую квартиру, и нашими соседями оказались обычные такие, тоже с детьми. М.Д. и его младший брат — они приходили к нам с родителями, мы играли на полу, М.Д. возил брата на спине, как лошадка. Я радовался, что нашел нового друга. Строгостью он напоминал деревенского соседа. Когда рассказывал ему о волшебных книгах, колдунах и скрытых реальностях, он просто отвечал, что все это глупости. Типа есть данность здесь и сейчас, и она не скрыта, а открыта. Затем мы снова переехали и общение с М.Д. потерялось, иногда на районе случайно пересекались и кивали друг другу. А в середине 90-х М.Д. стал одним из самых известных и активных криминальных деятелей города. Затем его нашли в озере.

Н. спросил, хочу ли я его сейчас воскресить. Мне стало тяжело от вопроса, понял, что не хочу.

Ты стоишь рядом с озером и ждешь, когда начнут всплывать и оживать те люди. Ведь я не знаю, что им сказать. Даже стало страшно, что Н. сейчас наспех их воскресит, они встанут и начнут вглядываться. Или выйдут из дома и зайдут в дом напротив, как те люди. Если мы потревожим общий порядок, придется объяснить, зачем это делали. Скажем, что строили дом. Позвали старых друзей пожить. Они были в озере как в покое, а мы добавили

беспокойство. И мы — не первые. Туда часто приходят с похожим беспокойством. Кому, собственно, объяснять, «зачем» и указывать причины?

Причины — неврастенические жесты, а не основания всякого движения, и эти причины — не причины данности, а просто наше оправдание. Помимо причин, встает вопрос воли. Воля как направление, куда ожившие люди пойдут и что будут делать. Если в них пробудится воля к властвованию, станет еще хуже, нам придется упрашивать их лечь обратно в озеро и уснуть, прикрывшись водой как одеялом.

Н. увидел сомнения и спросил, оценил ли я порядок. Не оценил. Если сейчас не могу найти слов, что сказать ожившим людям, это не значит, что этих слов нет вообще, просто на данный момент переживания захватывают разум и тяжело сосредоточиться. Мне стыдно не из-за утверждения границы, а из-за того, что если они оживут, увидят, что мы не смогли выстроить новые взаимоотношения. Надо сначала самим подготовиться, а уже потом их оживлять. Неужели на той поляне проводился похожий ритуал... кто-то оживлял и прикидывал, что скажет ожившим.

Изредка, где-то раз в год, вижу сон, что возвращаюсь домой, но не с обычной стороны, а со стороны болот, проезжаю незнакомые станции на электричке, выхожу на пересадку, стою на вокзале. Места, которые находятся за

станциями, кажутся жуткими и заполненными нечеловеческим присутствием. Если пойти вглубь, явно можно согнуться, там не то, что не найдут люди, там сотрутся все следы. Вокзалы как вывески, за которыми спрятаны полусонные бездны — они шелестят не от ветра, а от своего внутреннего шевеления, будто в них находится множество птиц, прижатых друг к другу, — у каждой свое сердце и своя жизнь. Когда подъезжаю к дому, возникает облегченное ощущение, что преодолел нечто, на что лучше не смотреть.

Иногда кажется, что из одного из тех отброшенных вокзалов может выйти человек, худой и темный. Если посмотреть на него издалека, покажется, что это плоская тень. Может выйти и сказать «давай покажу, как жить». Там, за вокзалом тихо и спокойно, можно нырнуть в бытийность как в озеро, раскинув руки. Если туда посветить фонариком, тамошнее может вытянуть тебя за свет, как за веревку. Надо вдохнуть все запахи, пусть и неприятные, представить, что вдыхаешь аромат; хоть в огороды, сгоревшие сараи, без отвращения. Если там ложишься и накрываешься темной пеной как одеялом, стирается и личность, и память. Конечно, так жить не надо. Надо как-то по-другому, а не как будто не рождался.

Когда мы шли с Д. мимо похожих мест, он расслышал свист и сказал, что кто-то держит обшивку. Он тогда взгляделся и сказал «обрати внимание, что нет тревоги и страха, и тяжесть не давит.» Это были самые зловещие места, но они скорее успокаивали, нежели пугали. Успокаивали, погружая в иной облик. Никто из тьмы не вынырнет, и свист, и обшивка — не здесь, мы лишь слышим и представляем. Мы представляем себя там, внутри покинутого

и дышащего простора, стоящего за станциями-вокзалами. Тебе свистят оттуда, явно не люди, этот свист рождает ощущение возможности. Когда тьма спадет, отвалится как корка, наступит очередное утро мира с тихим дыханием и еле разглядываемым копошением.

Итак, мы вернулись с Д. к вокзалу.

Из единственного работающего фонаря исходило мерцание, казалось, он своим болезненным светом стонет о предстоящем. Ряд скамеек плавал во тьме, конечно, он был неподвижен, но то мерцание создавало впечатление движения на месте.

На дальней скамейке сидели двое. Человек моего возраста и старушка. Лиц мы не видели, только курящие и сплевывающие слюну на землю силуэты. Д. кивнул в их сторону и сказал «смотри, черные люди». Черные люди нас заметили, уставились. Особенно тот, что был моложе. Старушка отвлекалась, смотрела на землю и трясущийся свет, а молодой не отрывался от нас. Что ему надо? Скорее всего, ничего, он просто думает, что надо нам. Мы же тоже стоим и смотрим на них.

Человек встал и несколько приблизился, выставляя голову вперед и всматриваясь в нас. Затем сделал еще несколько шагов к нам, так, что, получилось его разглядеть. Среднего роста, с короткой стрижкой, в джинсовой куртке, с разбитой губой и грязным лицом. Он простоял так еще немного, а затем подошел к Д. и обнял его, после чего посмотрел на меня, раскинул руки и сердечно положил голову мне на плечо, похлопав руками по спине.

Мы не виделись лет двадцать. Н. Р. жил в соседнем доме и мы проводили вместе дни во дворе. Его мать сильно пила, а отца не было, он днями шатался по окрестностям. Один раз его мама вышла из окна как из двери и упала. У нее был острый нос и загадочное выражение лица, так она и сидела на земле рядом с домом, пока не приехала милиция и не отчитала ее за странное поведение. Она улыбалась и показывала видом, что ничего особенного не произошло. Мы стояли рядом, переглядывались, а Н.Р. от стыда убежал в другой двор. «Зачем вы напугали детей» — спросила милиция. А она ответила, что никого не пугала, просто вышла из дома, как посчитала нужным. Н.Р. с нами не разговаривал весь следующий день, будто чувствовал свою вину, ходил молча и грустно. Да и нам было как-то неловко с ним встречаться, не хотелось его ставить в положение оправдания. Не в чем там оправдываться.

Д. кивнул в сторону сидящей старушки, спросил, мама ли это. Н.Р. рассмеялся, ответил «это моя девушка». Старушка тоже рассмеялась. Наверное, ей было неприятно это услышать, а может, уже все равно. Оказалось, они жили в бараках по соседству со станцией, предложили зайти к ним. Мы ответили, что лучше сначала пойти погулять около железной дороги, здесь неподалеку есть интересный разрушенный завод.

Пошли вчетвером в сторону висящих черных комков. Старушка часто останавливалась, кашляла и сплевывала на землю кровавую слизь. Ей явно было тяжело идти, но она всем видом пыталась отшутиться, показать, что ее

кашель и сплевывание — часть веселой игры. Н.Р. тоже обращал все неловкости в шутку, обнимал старушку, гладил ее по голове. Волосы грязные, слипшиеся, промазанные производственной смолой.

Наверняка и у Н.Р., и у старушки, были кучи болезней, просочившихся через тяжелую жизнь. Видно, что они устали. При этом, между ними была нежность, они улыбались, глядя друг на друга. Нежность не показная, явно не ради нас. Они цеплялись взглядом и сливались в приятном совместном существовании. В темном небе прокручивался непонятно откуда возникший черный дым, как след горевшей пластмассы, а я думал об их нежности, казалось, жизнь проявляется именно так, и если нет похожего трепета к человеку, то лучше растечься и размазаться по воздуху, и не напрягать собой никого.

Ясно, что дальше начинаются озера.

Если придем к озеру, там будет Н. Он скажет, чтобы мы четвером взяли за руки и окружили собой воду, как во время хоровода. Озеро явно больше нас, придется растянуться телами. Надо обхватить водоем — мы с Д., Н.Р., и старушкой растянемся. Скажем старушке, что туда нельзя сплевывать, сосредоточимся и начнем проводить ритуал. В церкви люди не держатся за руки, дабы не смущать друг друга. Какая же это ответственность! Просто быть в таком месте и мыслить оживление, рассуждать о воле и вдыхать туман как ладан. Интересно, ожившие сначала появятся над водой как сгустки или сразу встанут за нашими спинами и спросят, чем мы тут занимаемся. Ясно же, что когда они оживут, то не в телах жестокости, а в те-

лах наивности. Куда мы пойдём с ними? К следующему озеру, уже с большими силами и волей, оживим других, и так — по всем местам.

Надо сначала сунуть голову в мутную воду и посмотреть, где больше грусти: там или здесь, а уже потом решать, оживлять ли тех, кто там покоится. Но даже если здесь больше грусти, это не значит, что не стоит, грусть может рассеяться, как только произойдет изменение.

На мутном озере смятые плафоны как от расплавленной люстры, собранные в вереницы, с внутренней подсветкой, будто в них лампочки. Впечатление, что озеро украшено странной гирляндой. Вряд ли это светящиеся души, скорее промежуточные тела, намекающие мерцанием на свое присутствие.

34Посмотрел на места из окна электрички, минуты три до станции... подъезжал так тысячу раз... справа начались домики, за ними пустырь, кусок леса, а дальше уже перрон. Вышел с людьми. В такое время мало кто едет, из вагона всего несколько сонных. Мы спрыгнули и поплыли в холоде, спрятавшись в одежде, как дрожащие зимние утки. В зиме так всегда, в погоде застывает воздух и когда идешь через него, он немного режет лицо.

Да, еще. Минут пятнадцать до этого, когда проезжал мимо кладбища, увидел, как в него забегает лиса. То ли она бежит от звука электрички, то ли просто это ее сознательное утреннее действие. За забор, к могилам, к памятникам.

У вокзала, на скамейке сидят люди, которые смотрят на поезда. Они подходят к приехавшим и спрашивают, как дела. Если ты откуда-то приехал, у тебя есть дела. У этих людей дел особо нет, им интересно, какие дела есть у других.

Ко мне подошел улыбающийся человек, с выразительными большими глазами, одетый явно не по погоде, так нельзя ходить, можно сразу заболеть, подошел и сказал: «Здравствуй, я Толик». Дальше он должен был попросить мелочь, типа не хватает на билет домой, сказать, что чисто не рассчитал и не знает, как добраться до дома. Но он сказал: «пойдем, покажу, где работаю».

Реально, я его вспомнил. Мы жили не так далеко. Толик жил в одном из красных кирпичных домов, издаലെка напминавших развалины или изъеденную термитами кору. Только это было больше тридцати лет назад.

Мы звали Толика Гипнозом из-за больших выпученных глаз. Он всегда был удивлен и испуган, глаза выпирали из лица как у персонажа мультфильма. В детстве, когда его так называли, он сильно бесился, чем веселил остальных, а затем все свыклись, и Толик тоже.

Еще в детстве Толика доводили вот как. Подходили к нему, расширяли глаза и смотрели на него, как бы гипнотизируя. Он выходил и себя и орал, понимая, что это его изображают.

Помню, как представлял, что его можно нарисовать. Пористые пирамиды трухи, и из одной дыры высовывается пучеглазый человек — Толик Гипноз.

Он меня вряд ли узнал. Просто подошел к первому попавшемуся человеку. Пойдем, покажу, где работаю. Далеко идти? Нет, здесь рядом.

Мне показалось это чудесным и неожиданным. Здравствуй, я Толик. Пойдем, покажу, где работаю. Если такое говорят холодным утром, надо идти и смотреть. Вряд ли кто такое еще раз скажет в этой жизни, а если не пойти и не посмотреть, придется до конца дней думать, что же там могло быть, где он работает.

Пошли вдоль рельс, туда, откуда только что приехал. Там рельсы проходят рядом с домиками, если смотреть со стороны, даже кажется, что электричка может врезаться. Как так близко можно было строить дома к железке или железку к домам. Из дома можно плюнуть и попасть в электричку.

Мы шли и не шли. По видимости шли, но при этом казалось, что от вокзала мы не отдаляемся. Если вообразить нить, привязанную к вокзалу, она не будет удлиняться в наших руках. Мы как лошади на привязи ходим по кругу, но при этом видится, что удаляемся, движемся вдоль рельс. Так можно долго идти, и никуда не прийти. Возможно, со временем так же, и тот момент, когда он подошел на вокзале, и момент «сейчас» — одно и то же. Сколько бы мы не шли, это будет «сейчас», там, на вокзале.

Толик сказал, что скоро раскроется завод, на нем он и работает. Вообще странно, что там остался какой-то работающий завод, ведь уже давно все закрылось и рассыпалось.

Подожли к заводским помещениям. Черные окна с порванными пенками-сетками, внутри явно никакого производства нет, а есть непрерывный гул, даже не как звук, а как давление. Все вместе напоминает жуткого хищника, застывшего в ожидании жертвы. Множество глаз и переплетенных ресниц. Окна огромные, поглощающие, как дыры или норы. В один момент возникло подозрение, что происходит неправильное разглядывание. Я же нахожусь довольно близко к зданию, сделать пару шагов — можно будет дотронуться. На таком расстоянии должны быть видны два-три окна, а не двадцать-тридцать. Как можно быть рядом и видеть издалека? И в этот же момент, как возникло подозрение, появилось покачивание, легкая тошнота, отвлекающая на себя от лишних мыслей. Когда так ведет, не до правильности взгляда, хочется закрыть глаза и застыть, внутри глаз и без разглядывания хватит необычностей.

Внутренние капли собрались в одну слезу. Все сжалось в подавляющую жалость к себе. Вспомнил, как в середине 80-х, на старой квартире, по телевизору шло выступление: пела кукла, размахивая руками. Сначала лицо у куклы было гладким, детским, затем взрослым, и в конце песни старым, морщинистым. Песня заканчивалась словами, типа как же хочу вернуться в молодость, в детство. Я почему-то не сидел на диване, а стоял в дверном проеме во время всего выступления. В момент мне стало жутко тоскливо и жалко себя, я представил себя вместо куклы, старым, грустящим о данном моменте, заплакал, пришел в слезах на кухню, и, захлебываясь эмоциями, сказал маме, что боюсь этого всего. Она с умилением посмотрела, ответила, что не стоит так воспринимать.

Нечего расстраиваться по этому поводу, тебе еще жить и жить. И там, у завода, возникло похожее ощущение, только гораздо сильнее. Чем пристальнее вглядывался в окна, тем невыносимее становились эти чувства, казалось, вглядываюсь не в окна, а в хрупкость своего существования. Даже никакой трогательной музыки не надо. Любое воспоминание о детстве и юности приводило к нестерпимому сожалению и накрывающей как покрывало печали. Это уже не сентиментальная скорченная кукла, а рыдающий о себе мир. Видимое привязывает к себе шнурками, только вместо дыр как в ботинках, окна. Привязанный, плачущий, ничтожный, прикрепленный к двадцати-тридцати отверстиям.

Толик, ты стал колдуном. Помнишь, в школе, кем ты хочешь быть. Космонавтом, продавцом магазина с запчастями, моряком. А ты кем стал?

Отвернулся от окон и, в то же мгновение, словил некое безразличие. Это безразличие подействовало как анальгин на больном зубе, переходящий из спресованного порошка в сладкую мягкую воду. Ну и что? Нет в существовании ничего такого, о чем стоит непрерывно рыдать. Безразличие — как кожа, если ее содрать, появится нестерпимое раздражение. Безразличие придавливает собой и объясняет, что в жизни есть еще усталость. Показалось, что это не Толик Гипноз, а какой-то другой Толик, какая разница, собственно. То есть «реально, я его вспомнил» могло быть внутренним достраиванием видимой картины, неким появляющимся комментарием, не соответствовавшим никакой данности. «А человек тот был — колдун» — так вернее.

Хор находился слева. Сначала вообще не услышал пение, казалось, все происходит в тишине, а затем понял, что эта тишина поется. Хор, видимо, большой, десятка три, а точно сказать сложно, оттуда раскрывался лишь выступ, на котором стояли крайние из поющих. Они пели и сами поглощались пением. И не гул, и не звенящий фон, а какое-то тихое протяжное дыхание, то, что делает пространство живым — и это исходило от хора. Смог разглядеть одного из поющих. Он был похож на человека, — так посмотреть, человек и есть, но с некой иной подвижностью и взглядом. Голова и тело существовали не как у людей, а плавая в воздухе, как в зное. Из него исходило это непонятное звучание, протяжность и непрерывность происходящего.

Меня подвели к книге [с грехами?]. По обе стороны оказались улыбающиеся люди. Они указали, что нужно прочесть написанное. Мне стало несколько стыдно, и я прочел не то, что там было написано. Они засмеялись, поправили меня, указав, что происходящее сейчас не особо зависит от того, что я читаю, есть написанное не в этой книге, а в самом действе.

Сейчас кажется, что написанное касалось цинизма.

Те белые шумы, 2:43, мельтешения, пленки с выцарапанными иероглифами, моря нитей, утро мира — следы вечного возвращения? И не густое, и не протяжное время. Скорее клубки и россыпи, воспроизводящие себя по своей воле.

По дороге домой встречаю колдуна, который отводит к воспоминаниям — это один из повторяющихся сюжетов. Колдун именно возвращает, причем напоминая о болезненности существования, он показывает время. Даже неважно, куда он подводит, и что говорит. По сути, его высказывание — это «вот, время». Никто кроме колдунов не станет заниматься подобным. Они ждут и выискивают, с ними можно якобы случайно встретиться, но это случайно — продумано и осознано. Колдуны оказываются новыми просвещенцами. Их много, им тяжело, они не могут не делать, то, что делают. Их воля привязана к обстоятельствам, зажата внутри, им трудно преодолеть необходимость. Нет, конечно же, воля колдуна сложнее и подвижнее, и она не определяется обстоятельствами, она столь же жива и непредсказуема, как воля любого, как воля вообще. Колдун не приходит к тебе домой, он сидит на вокзале и ждет, когда ты приедешь холодным утром, чтобы встретить и отвести на завод. Он не ищет, а ждет, и будет там сидеть и ждать, пока это не случится.

В автобусе подсели рядом парень с девушкой. Девушка села напротив, против хода автобуса и стала вглядываться, а парень начал со мной разговаривать. Сразу стало ясно, что это какие-то бизнес-тренера, ведущие к успеху и личностному росту. Парень сказал, что сейчас они разберут мои проблемы. Он разложил какие-то стандартные темы. Мне было смешно и грустно от их тупизны. Но в один момент девушка сказала, что причина моих проблем в... и начала перечислять реальные события моей жизни — в этот момент показалось, что все не так просто. Они скорее сектанты, они не могут быть колдунами, они подошли в движении и сели рядом, не ждали, а настиг-

ли. Она перечисляла вещи, которые не могла знать, а затем они хором сказали «посмотри на себя», я посмотрел на ноги и понял, что на мне нет одежды, я сижу в автобусе совершенно голым. Ответил им, что старался жить так, чтобы сейчас нечего было стыдиться, пусть они вслух начнут все перечислять, спокойно выслушаю вместе с остальными пассажирами. На самом деле стало стыдно от самого положения. Я — нелепый, голый, напротив невесты кто, знающий обо мне все. Они и не сектанты, и не колдуны, это судьи на внезапном суде. Да скорее всего их нет, это пульсация болезни, галлюцинация, выстроенная общим освещением и памятью. Есть они или нет, но мне тяжело, тело трясет от холода, а пятки приклеены ко льду. В автобусе деревья, небо, дорога, кружение, взгляды как нити, музыка и запахи, уже готов пойти на их бизнес-тренинг по личностному росту, начать осознанно жить, тоже ходить по автобусам и так делать — вводить людей в внезапный стыд.

Есть сектанты, колдуны, судьи. У всех разная подвижность и разная внимательность. Судьи — самые уверенные. И сектанты, и колдуны, немного растеряны, они проговаривают слова, словно добавляя внутри себя еще что-то, и говорят не совсем тебе, скорее «тебе и себе», а судьи говорят именно тебе, они в тот момент себя не судят.

Еще раз расскажу про того человека в поезде. Сейчас кажется, что он тоже судья. Это был сидячий вагон, семнадцать часов тряски и томления. Мы сидели довольно далеко друг от друга. Он громко разговаривал, чем раздражал пассажиров. Рядом с ним были явно незнакомые,

он болтал обо всем подряд. Не помню точно, как он выразился, он сказал что-то вроде «я знаю все места» и захотел. Эта или похожая на эту фраза выстрелила и заставила внимательно прислушаться. Дальше случилось совсем странное. Он начал называть «места» — остановки, деревни, городки. И все эти места касались моей жизни. Он знал и мою деревню, и название остановки рядом с больницей. Сидящие рядом с ним ему поддакивали. Он громко выдавал название, а они тихо соглашались. Меня начало трясти, показалось, он вторгается в мою память. Память скармливает ему список мест, он их произносит. Что страшного, если это действительно так? Если это не случайность, а моя память действительно транслируется вслух этим человеком. А ничего. Пусть транслируется. Если даже предположить, что он — это старый я, ему на вид лет шестьдесят, и сейчас вижу некое будущее, себя, рассказывающего о себе, и в этом нет ничего страшного. Даже наоборот, это забавно. Стоит одобрительно махнуть ему, показать, что он делает непростое и интересное дело. Типа ты молодец. Можешь дальше обнаруживать мои места и не только места, мысли, мечты, получится такая отстраненная исповедь.

Дома с зеркальными крышами, только в них отражение не неба, а некой внутренности и кажется, что крыши нет, как в фокусах с исчезновениями, когда человек встает на стул, выставляет перед собой покрывало, бросает его и исчезает — там стул с зеркалами. Здесь же кажется, что взгляд проходит сквозь крышу и залезает в недопусти-

мые углы дома. Так пространство обманывает, это не дом, а теплица. Еще немного и такие теплицы раскроются повсюду, их множество, они образуют вереницу инструментов. Похоже на госпиталь для растений. Возможно, это трюк, цель которого — упрятать находящееся в доме, укрыть его от взглядов.

Из-за угла появился Ч. — уменьшенный, почерневший, с нарывами на руках, узнал меня, сказал, что Р.К. жив, по-прежнему ни с кем не общается, живет где-то в лесу. Социальный дом расселили, половину отправили на кладбище, половину просто куда-то. «Всех демонов выселили», — так он сказал. Теперь там пустоты, продуваемые ветром, разбитые окна и сырость.

Ч. живет, где придется, ночует то на улице, то у знакомых. А его жена, которую встретил тогда у магазина, умерла восемь месяцев назад. Ч. хочет скопить денег, чтобы поставить ей надгробие, а может и памятник. Последний раз, когда их встретил, она стояла с закрытыми глазами и шептала.

Мы пошли с Ч. по улице, рядом с разбитыми домами и дворами с игрушками. Есть дворы с безумными игрушками — плюшевыми мишками, курочками, львами, все сидят на деревьях, смотрят, мерзнут — недалеко от социальных домов.

Тело у Ч., судя по рукам и лицу, немного покрыто коркой, чтобы защищаться от холодов.

Двадцать лет назад пришел домой к Ч., он обрадовался, провел в комнату. Нужно было как-то помочь Р.К., он был

в розыске, скрывался по огородам, мы долго пытались хоть что-то придумать. В квартире было темно и тяжело, но Ч. светился, суетливо бегал на кухню и обратно, предлагал всякие бредовые варианты действий. Пойдем, всех соберем типа. Затем его выселили в социальный дом, в маленькую комнату с клетчатым одеялом и сырым потолком. У Ч. был мобильник, и соседки приходили к нему с просьбой позвонить. Там жили несколько женщин, ждущих своих мужей из тюрем. Люди приходили к Ч., чтобы связаться с родными. Ч. рассказывал, что около окон живут демоны, и некоторые из жителей дома их подкармливают. Этот дом — самый ценный в округе для всякой нечисти, по ночам шорохи и нечеловеческие стоны.

Пойдем, всех соберем — это можно сделать, если у нас будет церковь, иначе непонятно, что им говорить, когда соберутся. Нам же придется рассказать им о ритуале, о труде, о смысле. Если не расскажем, они больше не соберутся, поймут, что у нас не лучше, чем везде. Здесь же встанет вопрос ответственности — крайне неприятный. Если зовешь кого-нибудь проводить ритуал, не стоит после говорить, что устал и надо пойти отдохнуть.

Есть такие люди, они проговаривают сказанное по несколько раз, сначала в общей беседе, затем для себя или кого-то невидимого, только меняя интонации. Один раз говоришь как обычно, а затем прислушиваешься к тому, что сказал, понимая, что сказал не ты, а надо бы сказать тебе. Такое расщепление на себя говорящего, слушающего и повторяющего.

Когда мы гуляли с Р.К., он повторял фразы, вслушиваясь в них. Иногда, после третьего-четвертого повторения, он

хохотал. И ходили по одним и тем же маршрутам. Придя на то же место, что вчера, в то же время, в том же темпе, можно вслушаться и понять движение времени. Трудно представить, что эти повторения создают мир будущего.

Р.К. — скорее утренний предшественник, работающий с пространством прошлого покоя. Спросил его, где бы он поселил колдунов. В том пространстве, хоть прошлого покоя, хоть повторения. Он начал сочинять сюжеты, и так изысканно, что стало не по себе. Говорил: «один живет здесь», четко указывая место, будто это очевидная данность. Место внутри повторения. Один живет здесь. Один живет здесь. И как он соотносится с прошлым покоем? Просто возможности никуда не ушли, они еще толком не проявились, не о чем ностальгировать, надо ждать и предчувствовать.

Р.К. расставлял колдунов не только по местам, а еще по слоям повторений. Один живет здесь, он будет здесь, когда мы завтра сюда придем. Ничего не изменится, но он будет жить здесь. Мы вернемся через эту расстановку в прошлый покой. Колдуны в этих местах были раньше, когда все было безмятежно. А сейчас они стоят и натягивают очертания мира будущего, идущего через повторения фраз и действий.

В Р.К. всегда впечатляла сознательность, казалось, что он совершал все поступки, уже однажды их совершив и, придя затем посмотреть на себя со стороны. Он два раза сидел в тюрьме и казалось, приходил туда сам, намечая такую дорогу. Первый раз. Второй раз. Так и с тюремной дуркой. Он рассказывал, как зашел в камеру и напал на

кого-то, после чего его отправили в больницу. На вольных поселениях случилось похожее. Он разбил окно, взял кусок стекла в обмазанную кровью руку и стал внимательно наблюдать за остальными. Как зритель.

Колдуны, которых он уверенно расставлял, уже были там расставлены, им же, раньше, в прошлом покое.

Мы шли с Р.К. и представляли колдунов с мешочками для душ. Р.К. смеялся и показывал, как бы отбирал эти мешочки. Быстрым движением, как ударом, выхватываешь, выворачиваешь, выпускаешь душу.

Когда Р.К. хохотал, становилось неловко, словно являешься свидетелем безумия и не знаешь, что делать, остается только смущенно смотреть. Р.К. видел это смущения и хохотал еще больше. Хохот вызывает смущение, смущение вызывает хохот, они подгоняют друг друга, можно идти и долго хохотать, и смущаться. Возможно, так устроен вечный смех, бытие вглядывается в себя, хохочет, смущается, снова хохочет.

Пришли к вокзалу и решили, что здесь будет место встреч. Колдуны будут нас ждать здесь.

У тебя тень не такая, как должна быть, она у тебя слишком гладкая, а на земле трещины, она тоже должна расстрескаться.

Мы свернули с дороги, прошли в сторону реки, там же, где прошлый раз увидели неприятное. Ничего подозрительного. Только огромные кусты с колючками, которых

раньше явно не было. И колючки не растительные, а выброшенные со стороны и вклеенные в пространство. Они крепятся как надо, но есть необычное в их распределении, слишком высоко они находятся.

Мы встали с Ч. и Р.К. на перекрестке. Раньше часто видел это место во сне и не понимал, почему, оно отдалено от жилых домов, там редко что-либо происходит. Посмотрел на них и понял, что они тоже видели это место во снах, относятся к нему с трепетом и расценивают это мгновение как знак. Нам надо выбрать, куда идти. Выбрать — в смысле — направить волю. Другое дело, что они не станут в этом признаваться, останутся напряженно ждать, но не расскажут о своих тайнах. Ч. может рассказать, впрочем. Куда бы я хотел с ними пойти в это мгновение. Если выбрать действие и лишь одно. Я бы хотел пойти проповедовать и приглашать в нашу церковь. Рассказывать о деталях Писания и литургики, петь песни и дарить надежду. От перекрестка налево, по длинной дороге, затем направо, там будет наша церковь. И в ней пространство не такое, как везде. И никто не знает, чем оно «не такое», никто не понимает отличия алтаря от неалтаря. Оно «не такое» не из-за того, что мы туда идем и что-то ожидаем, а само по себе. Или же не так, оно сделано «не таким» нашей волей, красиво украшено, погружено в тишину. Почему мы должны куда-то идти, а не можем совершить литургию прямо здесь и сейчас? Если бы я знал, я бы по-другому жил. Или даже если бы догадывался. Есть ли разница между сиюминутным желанием провести службу здесь и сейчас, и многолетней мечтой? Между порывом воли и тлеющим желанием. Может ли быть, что «не такое» строится с помощью времени и волевого давления?

Нам недостаточно прийти на этот перекресток и заявить намерение, мы должны приходить каждый день и мечтать о нашей церкви.

Вопрос необходимости ритуала — один из самых важных из всех, что можно помыслить. Вопрос возвращения, участия, завершения. Видимо, здесь рядом проходит пульсация мира, заставляющая нас проходить снова и снова через похожие фрагменты. Вечное возвращение может оказаться анатомическим аспектом реальности, вроде сердцебиения. Цель «Различия и повторения» — спрятать вечное возвращение. ВВ перекладывают из места в место, из секрета в секрет, замечая следы. ВВ становится оккультным. Пусть и непонятно, что это такое. Оно теперь спрятано, перепрятано, укрыто. Теперь, когда вы скажете, что ВВ — это ..., вам ответят «нет, ты неправильно понял». Ходы так простроены, что даже если ВВ и было тем, что произносилось, оно станет не тем в мгновение, перепрыгнется. ВВ стало внезапно перепрыгиваемым кладом.

Мы сидели на бетонных выступках, когда-то там был склад, а теперь просто кусты стеной, как забор, мусорки. Кусты низкие, если иди за ними, не будет видно ног, но будут видны руки и о лицо. Так и вышло, появилась голова, немного некрасиво сплюснутая, длинный нос — такой человек. Он всегда жил с нами на районе, примерно был одного возраста с нами, ходил в школу для умственно отсталых, работал дворником. Нашел на помойке пожелтевшую книгу, схватил, и с хитрым видом побежал, по-

глядывая на нас. Думал, что мы сейчас дернемся за ним, скажем, чтоб показал. А это его новый секрет. Этим хитрым видом он даже приглашал, чтобы мы заинтересовались, догнали и отобрали книгу.

Он побежал за кустами, оглядываясь на нас и явно внутренне расстраиваясь, что мы не бежим следом. А мы смотрели в его сторону, пока он не исчез. И в то же мгновение, как он пропал, одновременно подняли головы — над пятиэтажкой оказался багровый кусок заката — так живописно и сочно, как на картине. Показалось, что за домом схватили этого жалкого человека с книгой, и размазали по небу, его кровь стала ярким, радующим разливом, на небе ему стало лучше, чем на земле. Здесь он был оплеванным и отброшенным, а там он красив и спокоен. Книгу он бросил по дороге или утащил с собой. Если взял с собой, она стала желтым оттенком, растертым рядом с яркими красными пятнами.

Помню этого человека с его матерью — такой же искоренной жизнью женщиной, они ходили утром по помойкам, двигались по холодному пространству как обреченности, заботящиеся друг о друге — о них явно никто больше не заботился и даже не думал. Слитые с холодным утром как трясущиеся собаки, отброшенные, и в этом свободные. Одним холодным утром шел на электричку, встретил их, повернулся, проводил взглядом. Они ушли в темное пространство как ущербные ангелы, тихо и медленно. Весь мир такой, если приглядеться — хрупкий и странный.

Митя сказал, что можем зайти к гадалею, он наверняка сейчас дома, рядом. Его подъезд напротив. Зайдем чисто

без повода, спросим, как он. Гадатель — тучный и грязный человек, типичный оккультист или ученый, типичный исследователь неведь чего, инженер, сотрудник какого-нибудь института или эзотерического сообщества — один бред. Он открыл дверь, провел на кухню, сказал, что ничего из еды нет, но можем попить чаю, притащил свой сокровенный мешочек. В мешочке разноцветные стеклышки. Гладкие, ровные, содранные с небольшого витража. Митя спросил шепотом, что будет, если подойти и ногой стукнуть по мешку. Ответил ему, что это то же самое, что ударить его по глазам — это предельная жестокость — прийти в гости к человеку и оскорбить дорогое ему. Попросили показать, как он на этих стеклах гадает. Он сказал, что надо задать вопрос, затем потрясти мешок, высыпать стекла и считать ответ. И это всегда работает, потому что эти стекла — не стекла, а атомы бытия, из которых сделан весь мир. Это и секрет, и не секрет. Посмотрел еще раз содержимое мешка — вряд ли он их нашел на улице, это не похоже на стекло от бутылки или окна, скорее действительно нечто декоративное, он отковырял с какой-то картины и объявил их гадательными. Спросил, придумали ли мы вопрос. Митя цинично сказал, что придумали и спросил, как часто гадатель занимается мастурбацией, я схватил Митю в шутку за шею и сказал, что мы в гостях, кем бы ни был гадатель, мы пришли к нему, он нам налил чаю и показывает самое сокровенное. Гадатель увидел, что Митя несерьезен, схватил свой мешок и недовольно посмотрел. Извини, Митя — дебил, он кроме как про дичку, ничего не понимает, сейчас придумаем нормальный вопрос.

Вопрос почему-то не формулировался, Митя и гадатель смотрели на меня, Митя хихикал, а гадатель ждал. По-

казалось, что происходит нечто запретное, я не должен ничего спрашивать. Митя заметил мое замешательство и громко захохотал, через хохот выдавив, что, видимо, я хочу спросить гадателя о том же. Митя — конченный дебил. Ничего мы не хотим спрашивать и вообще зря зашли и потревожили человека. Он — человек науки, с трепетом относящийся к своему открытию, нескладный и жалкий, зачем над ним смеяться.

38

[28 января.] Павлов день. День колдунов. Видел во сне колдуна как раз. Он водил по пространству и учил, был растекшимся по воздуху, как туча. В подробных заботливых наставлениях. Надо ходить по местам так, чтобы не видеть тени от собак. Если видишь, что бежит собака, нужно прикинуть по солнцу или фонарям, где будет ее тень, когда она приблизится, и правильно обойти. Если цепляешь собачью тень, самочувствие ухудшается, эта тень покрывает собой. Мы поднялись с этим колдуном немного над землей, на пару метров, под нами оказались собаки, он показал, как менять свое положение так, чтобы тень от собак ушла. По поверьям в этот день колдуны передают свое учение. И что с этим теперь делать? Воспринимать собачью тень как болезнь, которой можно заразиться?

[29 января.] Во сне шел по Иерусалиму, только не тому, который обычный. Холмистая местность осознавалась как Иерусалим. Рядом шли местные, они вели на какое-то мероприятие. Спросили, узнаю ли места. Конечно, здесь

был, и здесь был. Мы спустились по ступеням, довольно глубоко, но не в пещеру, а в жизненное пространство. За мной шла женщина-карлица — помог ей спуститься. Как происходит узнавание мест во снах, невозможное вне снов?

[2 февраля.] Во сне оказался в заброшенной сельской местности, рядом с автовокзалом. На перекрестке дорог сидел человек, знавший местность, и помогал подходящим к нему людям с направлением, куда идти. В качестве оплаты за совет он кусал людей за шею с правой стороны. Я тоже подошел к нему, он показал, куда идти и укусил за шею. Оказался в сельском храме, где все знали моего покойного крестного. Подошел священник и намекнул видом, что меня там тоже все знают. Это явно была не часовня, но не было видно алтаря. Алтарь невидимый? Показалось, что неловко спрашивать об алтаре, там все знают ответ, но не стоит произносить вопрос вслух.

Дома у Н.Р. и старушки пахло чем-то едким. То ли ацетоном, то ли скисшей или стухшей едой. На вид сырой диван, тряпки на стене и на полу, две кошки, стол, заваленный бутылками и грязной посудой. Окно во двор.

Н.Р. сказал, что я могу остаться и смотреть в этой окно, сколько захочу. Мы поднялись на второй этаж, квартира была не заперта, а вся комната завешана бельем. Старушка сказала, что там живут беженцы с детьми, они разрешают заходить к себе, когда надо, а сейчас надо, но не из-

за того, что есть какие-то дела, а чтобы нам показать это место. Вышли дети, двое, уставились на нас. Старушка мило с ними пошепталась, сказала, даже спела, что гости пришли. Вышла строгая женщина, поприветствовала нас, позвала детей в комнату и сказала, что мы можем ходить и смотреть, а также брать на кухне все, что найдем.

Н.Р. спросил, хорошо ли здесь, ответил ему, что хорошо. Хотел бы остаться здесь жить? Нет, но хотел бы иногда заходить, смотреть в окно и ходить по комнате с бельем на втором этаже.

Вернулись к ним, подошли к окну. Сквозь темноту пробивались фрагменты двора, стена напротив, разрушенный магазин, пара окон с тусклым светом.

Страх склеивается с прошлым страхом, радость с прошлой радостью, ожидание с прошлым ожиданием, и после этого не остается прошлого или настоящего, время ощущений прогоняется, остается скрученная данность, хранящая в себе существование, ритуал становится сном, который не снится, не кажется, а просачивается сквозь себя, как чистое звучание мира, сквозящее и пронзающее, вне помыслов и впечатлений.

Лучше места для проведения ритуала, чем перед этим окном, не найти.

Когда взгляделся, стало ясно, что двор — не двор вовсе, а расчищенная площадка, а тусклые окна напротив — не окна вовсе, а некие фонари, освещающие сцену. Сейчас начнется представление. Конечно, это окна и двор, а фо-

нари и сцена — лишь интерпретации видимого, но кажется, что сейчас начнется. Кто-то шепнул, что надо внимательно смотреть, чтобы не пропустить детали. Сейчас сменится освещение и появятся умершие. Они будут вставать напротив окна и смотреть. Это не прозвучало, но показалось, что будет именно так. Именно так. Здесь проломлена стена между живыми и умершими. Можно вглядываться и ощущать то, что запрещено в других местах. Как они будут появляться? По очереди, вместе, проходить мимо окна, задерживаться, вставать в глубине под тусклым свечением?

Уже думал уйти, чтоб не увидеть лишнего, как в окне появились три девушки. Они вышли во двор, встали около соседней стены, закурили. Н.Р. кивнул головой, оказалось, именно их мы и ждали. Они так постоянно выходят, курят, смеются? Да. Может быть, работают где-то здесь? Странно тогда, что выходят и днем, и ночью. Живут здесь? Тогда почему каждый раз выходят втроем? Н.Р. сказал, чтоб я не заподозрил его в чем-то пошлом, что он за ними подглядывает из вожделения. Просто они постоянно появляются и делают одно и то же. Стоят, курят, смеются, уходят. И так каждый день, и каждую ночь. Зачем нам объяснять, что это такое, пусть приходят и смеются. Если это ритуал, то красивый и загадочный.

Казалось, я уже давно избавился от желания объяснять видимое. Но почему-то сказал «может быть, работают где-то здесь», когда понял, что поддался на неврастеническую причинность, стало неприятно. Ты видишь нечто и сразу пытаешься это нечто пригладить в своем мышлении, объяснив его простую природу. А природа совсем не

простая, и не постигаемая тобой. Тебе показывают странный скрытый ритуал, а ты вместо благодарности начинаешь его объяснять. По сути ничего объяснить не можешь, но присутствуешь с сугубой пафосностью. Надо просить прощения за такое поведение, за беспомощные попытки объяснений, «работают где-то здесь» — пренебрежение красотой показываемого ритуала. Надо просить прощения перед всем миром за ту позволительность, потому что мир не складывается из причин-следствий.

40

На пустыре не было даже теней, нечему было заслонять свет. Мы приехали на двух машинах, встали, закрепились в теплом ощущении. Если они сейчас выволокут из багажника перевязанного как посылку человека и начнут избивать. Что на это скажет ангел? Он сидит и смотрит недалеко от нас, с большой головой и прозрачными глазами. Он увеличится так, что мы погрузимся в его глазницы, и даже этого не заметим. Нам покажется, что освещение и влажность стали иными. Ангел по-любому начнет действовать, но не запрещать или защищать, а менять окраску всего, менять чувство данности. Он может позволить пройти в себя, в свое спокойное тело.

С. вышел с куском арматуры, покрутил, ударил по воздуху, наверное, представил, что кто-то стоит перед ним, некий провинившийся человек-невидимка.

В момент мне показалось, что это суд, мы приехали. Кого будет судить — неясно. Может быть, ангел нас, или



мы друг друга, или тот связанный человек станет главным судьей, откуда -нибудь возьмется гигантский стул, он на него взгромоздится, и со строгим взглядом начнем перечислять наши грехи. А может, мы будем судить ангела. Выдержит он или нет. Если не выдержит, уйдет куда-нибудь, где нет людей.

Большая увесистая голова, удивленные мокрые глаза, и внутри всего этого неподвижные люди.

Мы же не серьезно, мы так играем в бандитов, в багажнике наш друг, мы просто приехали на пустырь, чтоб показать ангелу спектакль, рассказать о человеческом театре. Единственный зритель ушел, не дождавшись красивого финала, красного заката.

Это вид модного театра, в котором непонятно, что происходит, и кто является зрителем. Представление заканчивается общим танцем, зрители и актеры радостно пляшут, отпуская от себя только что увиденное. Это игра в вечное возвращение. Мы приходим искать клад, купаться в реке, судить друг друга, любоваться природой — это все проматываемые сюжеты, укрепляющие надежду на возвращение.

Мы пришли на этот пустырь рассказать совсем другие истории. Мы будем приезжать сюда день за днем и рассказывать. Выходить из машин, выстраиваться, чтобы было видно и громко говорить, чтобы было слышно. С. будет играть Бандита, Н. — Колдуна, Ч. — Судью, а я — Сектанта.

Кому мы будем показывать представления? Знаю только, что он большой, даже гигантский, с кучерявой головой.

Огромные глаза с задержанными слезами. Слезы скопились, но не успели собраться в капли. Трогательный и на вид неуклюжий, добродушный. Что он понимает, а что нет — мне неизвестно, я ему сказал, что буду смотреть истории во снах и ему рассказывать. Да, тела толком не видно, скорее голова и ощущение неважной телесности. Телесность дымоватая, и в нее не вглядеться, а лицо — вполне четкое. Идеальный зритель.

Мы приехали на пустырь рано утром, думали, там рядом река и можно искупаться, а когда вышли, увидели выгоревшую землю и бескрайний однородный простор, будто это было нарисовано ленивым художником в фоторедакторе, он взял и заполнил все пространство одной краской. Н. сказал, что сейчас начнется интересное, мы можем поблуждать по кругу и внезапно окажемся внутри воды, мы и не должны ее видеть, она как состояние, выберем клочок земли, построим движения и окажется, что мы искупались в реке.

В памяти перемотались разные фрагменты бесед с Н. и показалось, что многое из того, что он рассказывал и предлагал, похоже на театральную условность. Здесь будет вода, здесь будут лучи, отсюда лучше видно. Он часто выстраивал понятный лишь ему спектакль в разных местах, создавая сцену, освещение, музыку.

Мы будем ходить по кругу или по извилистым линиям, на малом куске земли, и внезапно окажется, что мы уже глубоко в воде, по колено, по пояс, по грудь, мы уже тонем и просим о помощи. Или нас сносит сильным течением, густыми и шипящими волнами. Волны как шестерен-

ки медленного маслянистого механизма. Или мы уже в спокойном как зеркало озере, наслаждаемся холодными прикосновениями света. Световое озеро. Место залито пыльными дрожащими лучами, проходящими из спрятанных фонарей.

Мы можем сбросить эту условность в любой момент, посмотреть друг на друга, прекратить, отдохнуть, забыть о только что происшедшем. Уже никаких волн, никаких вихрей, кружений, выгоревший монотонный пустырь и ожидающие люди.

Изъеденный воздух. Кажется, что он рябит, а он погрызан кем-то с боков.

У человека есть зуд прошлого, он приходит не из памяти, а из общего чувства времени.

С. достал из машины два калаша, один взял себе, другой протянул мне, спросил, нравится ли стрелять. Здесь интереснее, чем в тире, здесь есть отдача и бескрайность перед глазами. В кого будем стрелять? В кого хочешь. Наверное, Вильгельм Райх примерно так же охотился на инопланетян, приезжал с корешами за город и стрелял в никуда. Можем поиграть в пограничников, например. Оттуда пробираются враги, а мы их подстреливаем. Спектакль будет называться «На границе». Пограничники стреляют в пустоту и радуются. На, возьми, постреляй, ощути силу и возможности, защити границу. В кого будем стрелять? В кого хочешь.

Один раз бабушке нужно было куда-то уйти, меня не с кем было оставить, она отвела к соседке на пару часов, на пятый этаж. Это был первый раз, когда я надолго оказался в чужой квартире. Соседка сказала, что я могу посидеть, посмотреть телевизор, сама ушла на кухню что-то раскладывать. Квартира была похожа на нашу, по расположению комнат, кровати, дивану, но мне стало не по себе, я испугался предметов. Я оказался один в этой новой комнате, и понял, что все вокруг за мной наблюдает, оценивает, ждет. Если прислушаться, можно услышать дыхание стен, хрусталя в секции, горшков с растениями на подоконнике, батареи, люстры, и самого воздуха. Оно сжимает взглядами и спрашивает, что мне здесь надо. Вернее, не спрашивает, а утверждает, что я здесь новый, меня здесь только что не было, а оно было, это вхождение в живое и ждущее.

А еще был запах. Совсем иной, непривычный, резкий, комната пахла своей плотью. Соседка вернулась, спросила, чего это я так испуганно сижу, она сейчас даст пуговицы и нитки, в них можно поиграть. Принесла коробку, положила на диван. Разноцветные пуговицы, клубки и катушки с нитками показались пустыми, бездушными, безопасными. Начал их разматывать, наматывать, перекладывать. Это отвлекло и успокоило.

Когда встречал потом эту соседку на улице, каждый раз соединял ее в уме с той комнатой, с теми предметами.

Оказаться у кого-то дома, когда никого там нет. Это похоже на проникновение в тело, в жуткую детальность, в секреты, в пугающие ощущения чужой жизни. Квартира колдуньи страшнее самой колдуньи, она содержит в себе весь опыт ее пребывания, является молчаливым свидетелем кошмаров и тайн. Расположение предметов, старая швейная машинка, цветы в горшках, тетрадки с заговорами в шкафах, кружевное покрывало на телевизоре.

Перед сном мог так четко представлять, как оказываюсь в чьей-то квартире, что реально будто оказывался, ходил, смотрел, боялся. Даже если там раньше ни разу не был. Видел соседа из подъезда или соседку, и думал, как устроен его дом. Перед сном туда нырял. Эти представления сливались со снами. После этого не хотелось проверять, заходить туда, чтобы не пугаться.

Заходить в чужие подъезды тоже было не по себе. Когда оказывался один в чужом подъезде, тело леденело от страха. Как-то поднялся на пятый этаж с кем-то из дворовых, он сказал, что забежит домой и сразу выйдет, чтобы я подождал у двери, а затем вышел и сказал, что останется дома, я стал спускаться по лестнице и ощутил жуткое давление со всех сторон. Стены, перила, окна — все что-то шептали тихо-тихо, даже не шептали, а вдували шум в слух. Выбежал во двор, побежал в свой подъезд — тихий и спокойный, молчаливый, добрый.

При этом, от, казалось бы, самого страшного — подвала, не приходило подобного ощущения. Он более походил на пустоту, на клубки и пуговицы, только не совсем пустую,

а заполненную иным. Там были жуткие зоны, но тоже скорее в далеких и чужих местах.

Жизнь наполняет ощущение запахом жизненности, оно не всегда теплое, оно настороженное и внимательное. Жизненность давит своим вниманием.

Есть тип людей, который вы прекрасно знаете. Люди #. Они прекрасно справляются с конструкторами и пазлами. Головоломки лишены внешней нагрузки, в них не надо угадывать настроение мира или юмор. Конструкторы свободны от смыслов, от ответственностей, в них нет вопроса об адекватном восприятии мира, они — набор пустот, которыми можно манипулировать. Конструктор можно сломать, ничего за это не будет, ни от людей, ни от мира. Ответственность появляется лишь после того, как в конструкции селится смысл. Мир обращает внимание на смысл. Пока смысла нет, можно свободно играть. Культура для # остается загадкой, пока не происходит подглядывание и культура не касается одного из его секретов. Подглядывание мира — вторжение в секрет.

Ритуал # собран как конструктор, как машина или самолет.

может махать руками, отодвигая или отгоняя подглядывание. Чтобы не случилось вторжение в один из его секретов. А секрет во всем существовании. И собранный ритуал тоже секретен.

Когда мир не может подглядеть, он расставляет ловушки, охотится за пустотами, ждет, когда в них поселятся смыс-

лы. Мир сам может быть #, и подглядывание — его скрытый ритуал, собранный как конструктор. Ключи, замки, секреты, пароли — из них склеивается игровое пространство.

С жизненностью трудно играть как с конструктором, а с пустотами легко. И жизненности закрепленные смыслы и внимательность. И еще корни, причинность. Причинность подглядывает за твоими ритуалами с пустотами, за конструкторами, и ждет, когда ты заявишь о смыслах. Однажды ты заявишь о смыслах. Тогда и случится неприятное. Окажется, что ты ничего не понимаешь.

Автобус остановился, из него вышли люди и пошли по дороге, как обычно. Но показалось, что они идут слишком близко друг к другу и повторяют движения, идут строем, маршируют, но не торжественно, а устало. Они связаны нитями и идут в одно место, не разбредаются по мелким улочкам. Я встал напротив, сказал «я жду вас», и обнял идущих. Они идут ко мне домой, в гости. Покажу им игры, запасы, коллекции, тетради.

Когда к бабушке заходили гости, я подсматривал, как они реагируют на квартиру, пугаются, прислушиваются, вглядываются ли в портреты на стенах и легкий звон хрусталя. Наверняка, когда остаются одни в комнате, сидят и трясутся.

Один раз пришел А., и по его реакциям, мелким движениям, стало понятно, что он знает об иных взглядах. Он вовремя отвернулся от стены. С ним явно можно поговорить о этом, рассказать, но не все, а самое простое.

Можно рассказать о том, как устроен ритуал вообще. Как он интуитивно строится сначала через пустые конструкторы, а затем, понемногу наполняется жизненностью, мелкими дозами, как в чистые контейнеры впускаются смыслы, как закрепляются связи. Через шепот стен ты чувствуешь устройство пространства, располагаешь пустоты так, чтобы в них прятаться, а затем селишь в них свою жизненность, свою внимательность. Подошел к А., чтобы это рассказать, и нелепо прокричал а-а-а-а, или и-и-и-и, как подбитая птица, я не знаю, как это объяснить, нет ни слов, ни возможностей фиксации ощущений, это проносится внутри и заявляет о своей важности, но не получается выразить. Или получается? Показалось, что А. все понял, и напугался еще больше, понял, что мой крик связан с его внезапным страхом, что я подглядел за ним, за его скрытым ощущением. Он больше не придет в гости после такого.

Однажды я выйду из подъезда во двор, там будет кто-то сидеть на скамейке, я им скажу «Христос Воскресе». Они скажут «хорошо, что вышел», принес что-нибудь? Не знаю, ну вот, история, как мы едем ночью на рынок.

Мама рассказала, как один раз съездила на кладбище, чтобы прибраться на могилке, и решила не оставлять там грабли, а то могут украсть. Положила в красный пакет и поехала на автобусе домой. У мамы жил кот, и каждый раз, когда она возвращалась откуда-нибудь, он встречал, подбегал к двери, к ногам, обнюхивал, смотрел, что

нового принесли. В тот раз, как дверь распахнулась, кот побежал из комнаты в коридор, но в один момент резко выставил лапы вперед и остановился, уставившись маме за плечо. Словно за ней кто-то стоял и смотрел на кота. Затем он отпрыгнул и скрылся в комнате. Мама пошла на балкон, оставила пакет с граблями там, и закрыла балконную дверь. Кот сразу же подошел к маме и сел у ног, как обычно.

Подошел к коту и взгляделся в его зеленые глаза. Глаза как глубокие колодцы с волшебной водой.

А ночью я прижался к полу. Казалось, не было потолка и крыши дома, а наверху прямо надо мной висела огромная розовая луна. Голову с левой стороны гладили, слегка залезая внутрь и сдавливая. Слева было окно, за ним что-то темное, не разглядеть.

Момент начала ритуала. Как те, кто его готовят, переглядываются и предвкушают.

Формы и образы за окном начали проступать, я понял, что стою в подъезде и смотрю сверху на ту самую поляну, и пытаюсь распознать, что же там происходило. Разглядываю мелкие комки на земле, непонятно, как это возможно: смотреть с такой высоты и их видеть, да еще в темноте. Возможно, эта темнота не ночная, это темная подсветка, кто-то стоит неподалеку и светит черной лампой, создавая ночь.

Комки на земле дрожат, явно они живые, ночующие.

Освещение не меняется... но при этом появляются подвижные затемнения, как внутренние облака, лениво перемещающиеся по видимости.

Возникло ощущение, что ночующие комки — это магические птицы, а темные подвижные куски — те, кто их собирает. Похоже на сбор ягод или грибов, или растений, только в темноте.

И где здесь ритуал? Он должен быть связан с возвращением. Возможно, он совершается именно мной, сейчас, в данное мгновение. Это возвращение снова и снова.

Показалось, что я могу управлять затмениями и направлять их к комкам. Волей. Могу выбрать направление их движения, и они плавно туда потекут.

Разглядел еще кое-что. Вернее, «разглядел» — не то слово. Там не было границ, можно было идти взглядом и не останавливаться. В черноту все глубже, пока она не придавит. И даже когда придавит, это не граница, можно и дальше. Можно дальше в любом фрагменте, даже если уже давно ничего не видно. И все уже совсем не черное, а покрытое пульсирующей сеткой с клетками-провалами. А можно ли касаться сетки волей — непонятно. Как можно пробовать себя в этом положении? Во что превратились те комки и затмения, и остаются ли вообще возможности различать?

Нечего уже рассматривать. Лампа черного света. Лампа белого света. Розовая луна. Магические птицы. Воля. Внимание. Память.

Вечернее небо как из изысканного цемента, мутно-серое, с легкими красными полосами над столбами. Стоишь на земле, а чувствуешь запах наверху — сырой и едкий.

Когда позднее солнце отражается в пленочной крыше, кажется, что крыша горит.

Мы стояли рядом с магазином, там, где кривая дорога. Вдалеке появился, а затем исчез и будто прыгнул к нам, оказался сразу рядом, миновав расстояние — худой человек в растянутом свитере, висящем на нем как на вешалке. Он сжимал одной рукой запястье второй руки, не выпуская, словно его разные руки — разные сущности, змейки, и одна поймала другую. Смотрел на нас и улыбался. Зубы гнилые или вообще нет. Глаза блестящие, цепкие.

Жизнь его уже почти сожрала.

Мы знаем секреты друг друга. Он точно их никому не раскроет, и я тоже.

Как-то раз мы сидели на ночном рынке, прямо на коробках, оставшихся от дневной торговли. Он рассказывал о своей жизни, а я о своей. Мы не видели лиц друг друга, только черные пятна. В один момент он достал зажигалку, чиркнул и осветил кусок воздуха. Наши лица оказались красными облаками внутри темноты. Тогда и показалось, что можно рассказать то, что никому раньше не рассказывал, например, о тенях без людей, о том, как

птицы чертят свою память, рисуют в воздухе деревья, повторяют старые движения. Он вскочил и начал бегать по ночному рынку, размахивая руками как крыльями, было смешно и жутко.

Там на рынке построили небольшие магазины, днем кто-то разбил окно одного из них, на земле остались стекла. Он подошел и начал их топтать, при этом хохоча. Звук давящегося стекла слился с его хохотом в непривычное и объемное звучание. Показалось, что оно исходит не только от места, где он находится, но расширяется по всем закуткам, торговым лавкам, скамейкам. Уже в каждом углу ночного базара кто-то топчет стекла и смеется.

Ночной кот подошел и тревожно посмотрел на нас, дрожа от создаваемого звучания. Сегодня у нас свое землетрясение.

И там, у магазина. Явно он помнил нашу беседу на базаре, треск и хохот. Он возник и прыгнул к нам, чтобы напомнить.

Определенно, он безумен, у него светится лицо, его боятся проходящие мимо люди. Они словно его не замечают, но, отойдя на безопасную дистанцию, оборачиваются. Если он исчезнет, никто не станет искать, а людям вокруг будет лишь спокойнее.

Если пойдем вместе гулять, он будет часто отставать, вставать, прятать руки в свитере, дрожать. Ему не холодно, а внутренне подвижно и он трясется как дышит.

Мы стояли, я не знал, что ему сказать, а в воздухе проявлялись тонкие волокна — душная слоистость опускалась с неба прямо до земли, заволакивая собой видимые фрагменты.

На самом деле, воля к возвращению — это ритуал.

Волю можно разглядеть, всматриваясь в ритуальный дым.

Ритуал может общаться с пространством через дым. Задымленное место красиво и подвижно, в нем множество седых еле видимых нитей, растворений, течучестей. И присутствие, и исчезновение. От дыма идут слезы.

Дым появляется не только когда кадится алтарь и весь храм.

Дым медлителен и разнообразен.

Что если, мы действительно находимся в храме, и этот человек — дьякон, у него лента на левом плече, он держит в руке кадило. Стоит практически неподвижно, не раскачивается, не кланяется, а серые сетки заволакивают собой все видимое. Вот же момент, когда можно разглядывать спрятанные части, как в телевизоре. Они появляются как лениво складываемые и размываемые картинки. Спокойные взгляды, причины, обрывки возможностей.

Всегда были непонятны дьяконы. Они не там, и не там. Как завхозы, раздатчики дыма, наблюдатели за соблюдением правил. Строгие, почти ветхозаветные.

Наше впечатление движется по раскрывающимся выступам, и каждый раз, когда мы пробуем конкретное-скры-

тое — натываемся на оккультный стусок. Мельтешения внутри глаз и дым вокруг становятся одним и тем же. В этом состоянии и происходит соединение ритуала и воли к возвращению.

Мы можем пойти по пустому ночному базару и представить, что лавки заполнены торговцами, а мы подходим и совершаем требы. Ночные невидимые торговцы просят нас помолиться о чем-то, худой человек заполняет дымом пространство, мы молимся, делаем обходы, свидетельствуем об Истине. У нас книги, записки, лампадки. Мы знаем все правила, движения и ритмы. Придем тихо, благословим кого надо, покружимся в дыму и уйдем. Надо им объяснить, что у нас нет особого секрета, все решает воля, и если они сильно хотят, то могут так же, могут встать на наше место и провести ритуал. А окутает ли благодать как туман эти места — уже не наше понимание, мы все сделали, как видели, вернулись, куда могли. Ты проходишь сквозь плотный темный воздух не из-за знания хитростей и уловок, а из-за стремления и осознания ответственности.

В момент произнесения «проведем ритуал» случается движение воли, и дальше ритуал проводится как течение внутри всего доступного и допустимого. Давай проведем ритуал. Проведем через себя, в себе, в тебе, в ощущении, в звучании, в возможности, намерение чрезвычайно, намерение вспыхивает как чудо и ведет за собой существование, мы проведем ритуал, среди торговых рядов, призраков с удивленными лицами, раскрывающимися в дымном воздухе.

Воля не может касаться «было», если она не подходит к возвращению и не реализует ритуал. Ритуал касается «было», не смотрит со стороны, не фантазирует, а именно касается.

Как-то раз встретил человека, который рисовал высоковольтки и водонапорные башни. У него голова склонялась на бок, иногда почти лежала на плече, а рот был приоткрыт. Глаза блуждали по сторонам, смотрели то в пол, то в потолок. Он показал свои рисунки. Небрежно начертанные дороги, мосты, и четко выведенные большие объекты: линии электропередач и башни. Он спросил, узнаю ли это место. Не узнаю. Он расстроился, сказал, что это ... область, ... район. Был там? Не был. Он расстроился еще больше. Рисунков сотня. Он изобразил все места, где когда-либо был. Через эти индустриальные объекты.

Там не было деревьев, собак, птиц, только схемы расположения высоких гудящих строений.

Он возвращался в места через пустоты и гул, через конфигурации.

И расстройство по поводу того, что я там не был, связано с невозможность возвращения. Я не могу взглянуть на эту схему и вернуться туда, у меня не было это «было», ритуал не поселится, не проведется, для него недостаточно места.

Можно ли волей изменить «было» и сказать, что узнаю одно из мест, что бывал там, и чтобы это не оказалось ло-

жью? Только не воображаемо «побывать» там, а действительно поселить событие в прошлом.

Ф.Н. называл «было» скрежетом зубным и сокровенным горем воли.

Как сделать так, чтобы этот человек подошел в том душном месте, показал рисунок с вышками и башнями, спросил, был ли я там, и ответить «да, узнаю, был»?

Он больше не подойдет. Потому что это уже «было» и «было» весьма спрятанным образом, эти обстоятельства больше не сложатся, я не окажусь в той комнате с желтыми занавесками на окнах, и его там тоже не будет. Кажется, что «было» побеждает, указывает на полную беспомощность воли перед собой.

Сегодня великий понедельник. Проклятие смоковницы.

Один раз встретил в электричке цыгана с католическими четками. Он рассказал о проживании страстной недели снова и снова. Происходит круговое движение, молящийся возвращается и проживает семь дней, перемещается по внутреннему Иерусалиму, наблюдая, а может и подглядывая за Христом. Или не подглядывая, а становясь соучастником. Время сшивается из страстных недель, из кругов, страстей, ожиданий, предчувствий, схождения, воскресений.

Друг-священник рассказывал, что в страстную седмицу с ритмом служб начинает происходить нечто особенное, как будто каждый день проводится пасхальная служба,

первые три дня совершается литургия преждеосвященных даров, а структурно самые сложные службы проводятся в четверг и пятницу. Отпечатки этих движений есть внутри каждой недели, Страстная порождает все, весь год оказывается заполнен ее тихими копиями.

Каждый понедельник проклинаясь смоковница, каждый вторник произносится притча о десяти девах и масле для светильников.

Что если все семь дней существуют в единой палитре, и проклятие смоковницы не отделяется от притчи о десяти девах и от покаяния грешницы? И разложение седмицы на части, раскрытие смыслов отдельных частей, уводит от сущности общего? И седмица дается для существования внутри нее, а не исследования человеческих смыслов. Как тот цыган в электричке с четками, возвращающийся во внутренний Иерусалим снова и снова. Вряд ли он искал толкование символа смоковницы, Израиль это или нет, он искал вечное возвращение. То есть, седмица — непрерывное движение, а не список? И воля к этому движению касается «было», как вихрь или кружевной поток.

Мы не можем поселиться в Пасхе, вынуждены ходить кругами. Мы не можем не засыпать и не просыпаться, сбой сна ведет к поломке психики, придется таки лечь, закрыть глаза и замереть, затем пробудиться, вернуться туда, где уже были. Так и с Пасхой, она соединяется со входом в Иерусалим, что-то не позволяет раствориться в ней. Неведомая сила создает вращение, приходится возвращаться и снова проживать-проговаривать, предвкушать новое воскресение.

Сегодня великий вторник, притча о девах со светильниками.

Нескончаемое разматывание, внутри которого воскрешение.

45

Встали перед дверью. Волнительно звонить. Спустились к окну, посмотрели на двор. Будем звонить? Что скажем? Давай ничего не говорить. Позвонили, ничего не сказали, он сам поздоровался и нас пригласил. Сели в большой комнате. Показалось, он рад, что мы пришли.

Он смотрел и улыбался, а мы поглядывали на стены, потолок — редко так выглядят квартиры. Мебели почти нет, обои содраны, потолок закопченный, как если бы в квартире разводили костер. Сейчас он сидит тихо и спокойно, но можно представить, что творилось здесь еще недавно. Он бил по стенам, рвал обои, что-то жег, метался, кричал, а сейчас сидит и спокойно улыбается, рад, что мы зашли в гости.

Затем он, не меняя выражения лица, стал повторять одну и ту же фразу. «Мы в чьей-то памяти.» В чьей? Не в моей точно. Было жутковато, сидит хрупкий человек, с руками-нитками, глаза сверкают, и повторяет одно и то же.

Иногда он переставал говорить, просто сверлил глазами, затем продолжал. Эти слова складывались в шипение, действовали, погружали в другое место. Показалось, что

мы втроем не сидим в комнате, а стоим, недалеко от его дома, что теплое приятное лето, и мы в детских телах. Как жалкие зяблики стоим в проходящем сквозь нас тепле. И реально, это внутри памяти. Вспомнил, как это происходило лет тридцать пять назад. «Мы в чьей-то памяти» — в моей. Там рядом торговый центр, несколько дорог сходятся в одной точке, мы стоим и смотрим, наслаждаясь погодой. Тот момент склеивается с моментом «сейчас», вижу, что К. тоже улыбается, неужели он вспомнил, как и я, и может сказать, что мы в его памяти.

Зачем он разносил свою квартиру, громил, рвал? Может, ждал нас в гости и расчищал память, чтобы потом это произнести и погрузить в бесполезное воспоминание. Реально, не могу понять, «было» ли это на самом деле, или это внедренный в воспоминание кусок, и так же отчетливо все помню, мы строим втроем, даже если приглядеться, можно восстановить редкие машины, проезжающие мимо, и по солнцу установить точное время. Он волей вторгся в «было» — это невозможно, но это случилось. Там внутри обязан быть ритуал, без него никак. Эта разгромленная квартира — след ритуального очищения, мы должны были понять это сразу же, как зашли, как только он сел и, улыбаясь, посмотрел. И наше волнение перед тем, как позвонили в дверь, имело оправдание, мы чувствовали, что там будет нечто резкое, выбивающееся из привычной действительности.

Что дальше? И что дальше? Это же болезненно — оказываться в беспомощной и ненужной обстановке. К. захотел, а мне почему-то захотелось подойти к ободранной стене и лечь на нее как на кровать. Какое несуразное со-

стояние... Они явно увидели мое желание и видом стали подталкивать. Иди к стене, ложись и укрывайся, засыпай, тут уже все разбито, не о чем переживать, будет тихий и спокойный сон. Стыдно от такого. Встал, подошел к стене, лег на бок, мне нужно отдохнуть, не говорите ничего, даже не шепчите. Надо укрыться висящим куском обоев, как одеялом. Страшно представить, что может присниться, если так уснуть. Мы в чьей-то памяти. Кто-то вспоминает нас: двух улыбающихся людей и одного прижатого к стене. Скоро они разожгут костер прямо посреди комнаты, я буду лежать и греться.

Митя рассказал о своей соседке. У них была общая лестничная клетка, она жила напротив. Они толком не общались, только здоровались. Сдержанная, серьезная женщина, никаких лишних эмоций. Похожа на учительницу или даже судью, вся из себя правильная. Ни одного странного взгляда, все четко, придет, откроет дверь, зайдет. И даже если подойти к двери и прислушаться, ничего непонятного не услышать. И вот, один раз Митя курил на лестнице, его не было видно, а он видел площадку перед квартирами. Соседка вышла из лифта, подошла к своей квартире, достала ключи. Явно она не подозревала, что кто-то наблюдает за ней. И дальше произошло то, чего не могло произойти. Вместо того, чтобы спокойно, как обычно, зайти к себе домой, она раскинула руки и стала изображать птицу, затем присела на корточки, принялась размахивать руками-крыльями, кивать головой — все это беззвучно. Митя чуть не съел свою сигарету от удивления.

Он испугался ситуации. Соседка не долго так просуществовала, чуть меньше минуты, открыла дверь и исчезла за ней. Мите показалось, что он увидел какую-то дичайшую интимность, и теперь ему неловко с ней даже здороваться. Он будто знает ее секрет. А какой секрет — непонятно. Что бы было, если бы она тогда заметила Митю...

Митя тогда сполз по стенке, покрутил головой по сторонам. И что теперь делать?

Там блочные серые девятиэтажки, если смотреть издали, кажется, что они влажные, облитые чем-то.

Вспомнил, как мы с мамой поселились в девятиэтажке, на девятом этаже, и первое время я боялся лифта, ходил пешком, а также не мог уснуть, прислушивался к его звучанию, как он трещит, поднимается, скрепит, сбрасывает напряжение, замирает, вздрагивает, отправляется обратно.

Каждый раз, когда вижу во сне девятиэтажку, там присутствует тревога. Бетонное пространство неопределенных неприятных отношений, сырой тяжелый подъезд. По этажам можно ходить, можно подходить к квартирам, но все пустое, там нельзя скрыться. Перемещения обычно случаются этаже на пятом-седьмом, и если стучусь в чью-то квартиру, она оказывается на лестничной клетке слева, прижатой к стене. Из квартиры исходит холодный свет, никогда не захожу внутрь, понимая, что там делать нечего.

Ночью Митя подошел к квартире соседки, приложил ухо к двери. А у нее глазок в двери. Может она тоже под-

глядывала за тем, как он подслушивает. Там была тихая незнакомая музыка. Митя сказал, что никогда ничего подобного не слышал, похоже на смесь совсем легкого популярного ритма и шаманского пения. Не горловое пение, а нежная непрекращающаяся протяжность, словно поет не человек — человеку нужны паузы, чтобы набирать воздух. Он представил, чем занимается ночью соседка. Тихо перемещается по квартире, помахивая руками, двигая лицом. Какая разница, кто чем занимается дома ночью, когда никто не видит? Ходит она там под это пение, машет руками, клюет пол — какое твое дело? Если на минуту снять стену у дома и увидеть все происходящее, можно надолго лишиться сна.

В одну ночь, одна из стен девятиэтажки стала прозрачной. Жители ничего не знали и жили, как ни в чем ни бывало. В это время никто в тех местах обычно не ходит, и в тот раз так же было, лишь один случайный прохожий. Увидел и замер, простоял так минуту, не веря глазам.

На одной из двух баз находились катушки — намотанные и плотно спрессованные слои бумаги. Огромные, с человеческий рост. Если ты оказался насекомым, случайно попавшем в один из слоев, ближе к сердцевине. Скорее всего просто раздавит, но может и нет, тогда проявятся способы кругового блуждания. Там слишком плотно, и в реальности не получится пройти, можно лишь представить.

Одним утром туман растворил в себе базу. Она растаяла на глазах. Становилась все менее отчетливой, а затем исчезла. Вместе с постройками, складами, парковкой и весями для машин.

Люди продолжили ходить на работу. Залезали прямо в туман, катали там невидимые тележки. Дороги остались дорогами.

База начала производить музыку. Все скопленные за годы своего существования звуки она сложила в приятную последовательность. Скрип дверей, шепот работников, гул двигателей, все это сделалось одним целым. Получился растянутый кусок звучащего тумана. Так и выглядит память — поющее облако, прижатое к земле.

Похоже на поляну, покрытую отцветшими одуванчиками, причем объемными и разной формы.

Если подойти поближе, можно разглядеть детали тумана: он соткан не из повисших влажностей, а из еле делимых почти прозрачных перьев. Перья цепляются друг за друга, организуя огромное шелестящее тело.

Заходишь в пространство и ложишься, как в пышную кровать, падаешь в покров ночи. Хоть и утро. Нет специальных дверей или окон, через которые входят, просто легкое действие — и ты внутри.

Перемещение происходит не благодаря проявлению воли, а само по себе, как спонтанное плавание. Воля таится и отдыхает. Вполне можно мыслить и различать. Откры-

вается узнаваемое. Как простая истина, которую даже не нужно произносить вслух. Она ценна, но слишком очевидна. Но как только ты вынырываешь наружу, она испаряется из мышления, ты не можешь восстановить ничего, лишь помнишь это ощущение узнавания и уверенности. О чем шла речь? Да хоть какой-то намек. В мышлении не осталось следов. Только что это казалось столь четким и естественным. Лишенным секретов, раскрытым и понятным. Почему оно никак не задержалось в памяти? Видимо, из-за того, что ты сам вышел из нее, вышел из глубинной пены в привычную память.

Эти два мира: там и здесь, не имеют границы, поэтому нет ключей, чтобы взломать вход-выход, нет строгого метода, как туда проникнуть. Просто случается, и ты там. Рядом люди, они пришли на работу. Как так вышло, что ваша работа растаяла? Как вообще так вышло? Один прицепился и стал ходить за мной, улыбаться, поворачивал так, чтобы оставаться за плечом. Доброжелательный, даже слегка смеющийся от своих действий. Зашел в вагон метро, рассчитывая, что он не успеет заскочить, но он успел, вышел — он тоже вышел следом. Сказал, что он капитан, и мы связаны. Типа не отцепится. Присоединился внутри растаявшей базы и теперь его не сбросить. Мы зажаты около одних отсыревших листов внутри катушек, не смахнуть, нет нужного пространства для жеста, все сковано. От него не убежать, его можно забыть, но для забывания нужно вернуться в глубинную пену и там его оставить. А для возвращения нет методов, и воля оказывается растерянной, как и при работе с «было». Его может сдуть ветер забвения, окажется, что больше никто не идет сзади, никто не тревожит, капитана сдуло неза-

метным ветром, и где он теперь — непонятно. Он был не злобным, и не таким уж навязчивым, даже грустно, что все так вышло.

Капитан. Тихоокеанский флот, фуражка, ленточки, морские просторы. Я вообще ничего не понимаю в этом. Кто это вообще был? Вспомнил передачу «Клуб Белый попугай», там сидел Никулин в капитанской фуражке и рассказывал анекдоты, а остальные звезды кино и эстрады смеялись. Какой же несуразной сейчас кажется история этого подцепленного капитана. Так со многим из того, что осознается «там». Когда оно выносится наружу, превращается в сплошное недоразумение.

48

Простая и приятная музыка заполнила собой утро, рядом с нашим подъездом остановилась машина, вышли трое, задержались в ритм. Весь дом еще спал, хотя уже можно было просыпаться, эти люди оповещали о начале нового дня. Они вместо утренних птиц.

Издалека город напоминает китайскую лапшу, свитые и слепленные полоски, скрученные куски проволоки. Запутанные и перестроенные области поглощают восприятие, начинает казаться, что оттуда трудно выбраться, если попадешь в одну из свитых воронок, придется годами скакать по лабиринтам.

Дома, если посмотреть сверху, это раздробленные застывшие змеи, некогда подвижные составы, зарывшиеся

в землю. Если посмотреть снизу, это сами внутренности человеческой одновременности, пористые, как изъеденная древесина.

Мы уже не спали, молча смотрели в окно.

На окнах нет занавесок и штор, одни запачканные стекла. Их мыли много лет назад, здесь никто толком не живет, лишь останавливаются по дороге.

Свет с неба прошел прямо в комнату, мы оказались внутри лучей, как пылинки. Будет хороший день.

В дверь постучали. С. шепотом спросил, говорили ли мы кому-нибудь, что заедем сюда. Мы с А. ответили, что никому не говорили. С. достал ствол, тихо подошел к двери и застыл. Через полминуты постучали снова. С. кивнул, чтобы я подошел и спросил, что надо. Я так и сделал, спросил, кто это. За дверью сказали «свои, открывай». С. открыл. На пороге оказались парень и девушка. Парень в очках, несуразной внешности, похожий на программиста, щуплый, на вид нерешительный, и девушка — худая, с темными кругами под глазами. Они улыбнулись и поздоровались.

Вы кто? Свои. Они засмеялись. Прошли в комнату, уселись на диван.

По виду, С. явно был не рад их появлению и понимал, кто это такие, а я не понимал. Внешность парня не вязалась с волнением С. Да и внешность девушки. Она выглядела так, будто долго не спала, ее немного покачивало. Когда они сели, разглядел у нее на руках синяки. Мы ненадол-

го. С. оставил их сидеть на диване, позвал нас на кухню и сказал, что не знает, что с ними делать, надо позвонить Виктору Геннадиевичу, посоветоваться. А кто это такие? Долго рассказывать. Когда мы вернулись в комнату, их не было. Они тихо прошли мимо кухни и заскочили в ванную, там закрылись. Почему С. так разнервничался, ну кто это вообще?

Раздался их смех. Что они там делают? С. достал мобилу, набрал В.Г. Беседу целиком я не слышал, но С. явно напрягся. В трубке слышался повышенный тон. Зачем ты их впустил вообще? А как не впустить? А. отвел в сторону и попытался разъяснить. Это не очень хорошие люди. В смысле? Мы что, судьи теперь? Определяем, кто хороший, кто плохой? Что они там в ванной делают? Принимают лекарства наверняка. Просто нарики? Или кто? Ширку гоняют. Почему все так напряглись?

Программист с подругой вернулись, снова сели на диван и заулыбались. Какое ясное и солнечное утро. К нам залетели темные ангелы. Иначе не объяснишь все создавшееся напряжение. Не мог представить, что С. может перед кем-то так неуверенно себя вести, тем более перед такими. Кажется, что если дверь балкона распахнется и подует ветер, они сами, эти двое, упадут и не встанут, у них никакой силы в теле нет, просто худые и бледные, сидят, улыбаются, чего-то ждут, всех смущают своим присутствием.

С. еще раз отвел нас на кухню и сказал, что их нельзя прогнать, это общая хата, лучше сами уйдем, не надо с ними лишний раз говорить, просто соберемся и выйдем, не прощаясь.

Мы так и сделали. Они ничего не спросили, проводили нас тем же улыбающимся взглядом. Вышли из подъезда, сели в машину и сразу поехали. Не успел даже взглянуться в удаляющееся окно квартиры. Там остались лучи, пылинки и эти люди.

Когда отъехали на привычное расстояние, почувствовал тревогу, словно долетело не сразу проявленное чувство. Стало не по себе от воспоминаний об этих двух гостях. С. не собирался ничего рассказывать, а мне с каждой минутой все меньше хотелось слышать о них. Как их забыть? Только бы они не приснились и не объяснили, кто такие. Лучше заранее догадаться.

В семь лет смотрел кино. Как оно называлось не смогу вспомнить, потому что и тогда не знал. Какой-то советский детектив с непонятным сюжетом. Сюжеты все были непонятны, но этот совсем не разобрать. Все мутное, бледное, коричневое, на выпуклом тусклом экране. Следователь куда-то идет, кого-то ищет, медленно, скучно. Опрашивает свидетелей. Ему говорят, что нужно пойти в один дом. Он спускается по неприметной дороге, поворачивает направо, выходит к дому у реки. В этот момент меня начало трясти. Я узнал это место. По фильму там ничего особенного не произошло, следователь получил какую-то несущественную информацию и пошел дальше. Но дальше было уже неинтересно, этот дом и места около него сковали меня. Я обхватил руками прижатые к груди колени и застыл. Не мог связать это место с собы-

тием или с конкретными ощущениями. Возникло скорее глубинное узнавание, это место не связано с привычной памятью, оно лежит где-то «под». Судороги свели, но не тело, а большую телесность, все пространство.

Второй момент подобного узнавания случился в М. Когда ехал мимо закрытой общины и увидел их здание. Это был дом этажа на три, с нестандартным расположением окон, и не только расположением, но и размерами. Кто-то неловко вклеил их в деревянную постройку. Захотелось туда зайти, но вместе с этим желанием появился страх, что могу не выйти обратно. Весь вечер думал про увиденное место. Это явно не узнавание того, где раньше был. Не ощущение знакомого или привычного. Скорее похоже на выставку сложных и разнообразных картин. Идешь по ней, разглядываешь все вокруг, и вдруг встречаешь одну, которую сам нарисовал, причем рисовал ее долго, детально, тщательно. Происходит узнавание не того, что раньше видел, а части себя. Похожее происходит с местами в повторяющихся снах — они находятся «под» памятью, не приходят как нечто знакомое, но предстают как гораздо большее — то, что не забывается и не вспоминается как обычный жизненный опыт.

Можно представить себя советским строителем, или сектантом в М., строящим дом со всей душой. Жизненность проявляется через труд. Ты заботаешься о благополучии тех, кто здесь будет обитать. После окончания работы появляется волшебник и говорит, что все отлично, только надо забыть о произошедшем и переместиться в другое тело, иначе воспоминания слишкомотяготят. Не стоит помнить о том, что строил этот дом,

не стоит помнить о всех сопутствующих факторах, окружающих, обстоятельствах. А в новом теле будет легко и радостно.

Когда рассказал об этом Н., от ответил, что это «подземная память», в нее не проникнуть по желанию. Кажется, что можно скользнуть в нее, когда находишься между привычным восприятием и сном, в предсонных видениях, но это не так. Она погружает в себя сама, по своей воле. Она как океан с приливами, если окунуться в нее, распадется привычная личность.

Н. сказал, что к вечеру ожидаются гости, надо подготовиться.

Н. встал у солнечной стороны, посмотрел на стену. Если подойти и спрятаться в его тени, скроешься не только от солнца, но и от всего, останешься существовать, только не здесь. Тень как приют. И если, когда придут гости, станет совсем страшно, можно укрыться в тени. Но как будет в помещении со светом? Может быть все окажемся в тени и не увидим друг друга.

Спросил Н., знаком ли он с гостями. И как только спросил, возникло ощущение, что из-за этого вопроса поменялось освещение. Возможно, в этом вопросе лежал ключ от теней, Н. сделал вид, что не услышал, а освещение отразило разрезанность пространства — оно все из лоскутков, и с помощью подобных вопросов можно шевелить фрагменты.

Что вообще происходит?

По словам Н., некоторые гости будут пытаться украсть нашу память, а мы можем их опередить, украсть их память. Когда все закончится, можно вернуть.

Когда они придут? Сейчас. Уже пришли.

Первый гость — дядя — появился и расплылся. Обычная на вид голова, но размером с полкомнаты, и расширенная в стороны. Он повис как голограмма, или проекция невидимого кинопроектора, слегка раскачиваясь и улыбаясь. Смотрел и подбадривал. О чем тебе рассказать? Я друг семьи. Какой семьи? Семьи вообще, я твой дядя. Мы ездили на огород, когда ты был маленьким, сидели и праздновали, ты бегал, собирал ветки и выкапывал червячков, а потом лежал несколько дней с солнечным ударом, и я тогда приходил и просачивался сквозь обои, ты замечал меня на стенке и отворачивался, утыкаясь лицом в подушку от страха. Страх как холод проникал в скрытые комнаты ощущаемого. Мы играли в космос и планеты, и мне от тебя ничего не надо, я здесь просто так. Вспомнил этого дядю, у него всегда тело состояло из гигантской головы, и смотрел он не прямо, а несколько боком, прищуриваясь и намекая на наблюдение и смысл.

Не о нем шла речь как о похищающем память. И мне от тебя ничего не надо, я здесь просто так. Как же мне раньше не хватало этой фразы. Какая разница, что происходит. Это данность, как закат, у нее нет выявляемой причины, связанной со мной. С другой стороны, почему ему можно верить?

Были мгновения, когда лицо Н. становилось золотистым, подсвечивалось изнутри. А вместе с лицом и кусок пространства словно заполнялся магической пылью. Один раз, когда такое случилось, Н. сказал, что находится не в той телесности, что мы видим, а плывет прямо сейчас на небесной лодке. Он тоже никогда себя не узнавал в зеркале, всегда казалось, что отражается кто-то иной, и происходит подмена тела.

Н. сказал, что за памятью уже приходили, просто я не заметил. Начал перебирать в мыслях странные встречи за последнее время. Темные ангелы-программисты, гадалка, судьи... Кто приходил?

С другой стороны дома, не с той, где подъезды, а там, где бетонная дорожка и забитые окна в подвал. Стояли люди, что-то разглядывали в квартире на первом этаже. Подошел поближе. Они ничего не разглядывали, а прислушивались, и не к квартире, а к общему фону. Доносились звуки, похожие на стрекот сверчков, только тоньше, как из радиоприемника, а не из природы. Они улыбались, слушали, кивали. И явно имели какое-то отношение к жильцам первого этажа.

Когда подошел еще ближе, звук исчез, они меня заметили и посмотрели. Два мелких человека, с выразительными выпуклыми лицами, и один длинный с вытянутой головой. Показалось, что лица этих двух выпирают из воз-

духа, а тот длинный зажат между ними. Один из мелких тряхнул головой, спрашивая взглядом, ищу ли что-то. Я пожал плечами, указав, что ничего особо не ищу, просто интересно. Тогда высокий, зажатый, раскрыл рот как при пении песни, произвел что-то с дыханием — и стрекот возобновился. Стало ясно, что это он производит этот звук. Он стоит, таким образом поет, а те двое слушают.

Не сказать, что увиденное сильно напугало. От них не исходило никакой агрессии, скорее они делились этим пением как чем-то ценным, хотели, чтобы я тоже порадовался необычному умению. Повернулся и пошел оттуда, стараясь даже не думать, смотрят ли они вслед. Своим появлением я прервал что-то совсем непонятное.

И еще этот звук не исчез, остался в слухе, хотя я и отошел уже довольно далеко. Он отключился позже, и мгновенно — как отложило уши.

Под вечер вернулся в то место. Никаких звуков. Подошел к окну на первом этаже. Место, где стояли люди, выделялось. Его словно вымыли, провели большой мокрой тряпкой по известке. И на цементе, и на стене дома, было ровное мокрое пятно, даже не пятно, а цельный фрагмент, как если бы из окна равномерно шла вода.

В ту ночь не мог уснуть, погружался в бредовые видения, выбрасывался обратно в бодрствование — и так до утра. Когда наступала дрема, в ней появлялось увиденное, но, как ни странно, там не было людей. Скорее некая монотонность типа доски, и посередине аккуратно встроено пятно, область, покрытая лаком.

Следующие дни специально проходил мимо того места, надеясь встретить поющего человека и его слушателей.

В один момент показалось — снова надо отметить, что не было этого «одного момента» — что все перевернулось: я иду по дороге, а сверху свисают деревья, как волосы висящих вниз головой поющих существ. Через это пение судится будущее, которое еще не наступило.

[6 мая] Одна из самых страшных ночей вообще. Под вечер начала кружиться голова. В полночь появилась тревога, не имеющая разумных оснований. Казалось, что падаю, когда закрывал глаза, втягивало в дыру. Выпил несколько раз снотворное — не помогло, только начинали слипаться глаза, как от кошмара возникала внутренняя тряска, выбрасывало обратно в бодрствование и панику. Глаза склеиваются, но втягивает не в сон, а в центрифугу. Такие состояния называют панической атакой. Как можно спать, когда падаешь?

Во время атаки возникло ощущение дна, провала, без какой-либо страховки. Падение в беспомощности. Радовало понимание, что это состояние должно закончиться, когда наступит новый день, все станет по-другому, не может быть, что эти панические воронки останутся работать с прежней интенсивностью. Надежда на то, что все происходящее существует во времени и рано или поздно закончится.

Оценил старые приступы, в них было тяжело телу, но оставались зоны, внутри которых можно спрятаться и уснуть. Нужно лишь начать дышать в направлении болевых

пульсаций, медленно перемещать по пространству боли, как облако, и искать зону-комнату. А здесь, как кажется на первый взгляд, нельзя ничего, тебя ввинчивает в жуть. Ты просто внутри воронки, такие вещи снимаются сильными транками, от которых на следующий день течет слюна прямо на глаза, вертикально вверх.

Это продолжалось до семи утра, после чего в изнурении уснул. Увидел церковь, приготовление к службе, священника и алтарников в золотистых облачениях. У них была тетрадка со схемами, кто куда идет, кто что делает.

На следующий вечер это же начало приближаться. Через головокружение и легкую тревогу. Сам по себе возник страх, что все повторится. Как приближение сущностей, готовящихся нырнуть в сознание — притаившихся собак. Даже когда становится легче, остается ощущение, что они стоят и ждут, и в любой момент могут наброситься.

Спросил у знакомых, оказалось, что панические атаки были почти у всех. Каждый это объяснил по-своему, кто психической аллергией, кто надломом бытийности. Все ломается, склеивается заново и в трещины проступает кошмар. Друг предложил подвезти сильные транки, чтобы обезопаситься. Если что, они срежут слой. Как масло срезается острым ножом.

Нельзя делать из этого оккультную войну, примечать закономерности, поджидать собак, устраивать сражения, конструировать из ощущений поля битвы. Все равно это проиграется. Не надо придумывать, что они приходят под определенную музыку, что воздух начинает плавить-

ся и дрожать. Не надо искать секреты. Просто их нет, даже если пришли, их все равно нет.

Кто-то возится и пришептывает, хихикая при этом не ртом, а горлом, глотая еле проступающий смех. У него смех как желудочная жидкость — пахучий, едкий.

51

Дождь вот-вот начнется. Надо успеть к гаражам до дождя. Спускаюсь с пятого этажа, смотрю в разбитое окно в подъезде на социальный дом с раскрошенными стенами, затекшими-забитыми порами. Идти минут десять, по дворам, мимо белых и красных стен. На небе сгустки, по которым можно гадать, лица с выпуклыми частями, плавно перетекающие в неузнаваемые формы. Что на небе, то и внутри глаз, если закрыть глаза, это не исчезнет, оно не видится, а осознается. Хочется гладить свое лицо, возникает легкая боль, это явно троичный нерв, надо гладить не как кошку или что-то приятное, а надавливая на веки, через эти болевые ощущения лицо общается с общим движением. С дыханием так же, дышишь разлитой по воздуху сыростью, и каждый вдох становится предсказанием. Предсказание-воспоминание, как чередующиеся ячейки, содрогания, пульсирующие связки. Идти минут десять, надо погадать на прошлое. Кто здесь был и куда смотрел? Некий горящий человек, от него исходил синий дым, закручивался барашками, складывался в причудливые очертания. И сейчас кажется, что у бытия есть только два варианта будущего, один случился, если я успею к гаражам до дождя, другой — если дождь заста-

нет в дороге. Какой чище или страшнее — непонятно, надо успеть, но если не успею, может и не хуже, но совсем по-другому. Если не успею, нужно сесть и сжаться, чтобы отмокнуть и отдохнуть. Движение по дворам похоже на скольжение шарика для пинбола под мутным стеклом. Это называется аркадной игрой. Добежать, срезая углы, пока на тебя не свалился потолок, пока языки с нависшего неба не опустились близко и не принялись облизывать. Итак, гадаем. На далеком прошлом. Берем любое окно и спрашиваем, что там происходило двадцать лет назад, в данную минуту. Проводились ли там ритуалы? Если да, то какие. Если наверху появится лицо с закрытыми глазами, то ритуалы отторжения, а если с открытыми — инициации. Это прошлое, на которое сейчас совершается гадание, помнит о человеке только проводимые им ритуалы, а остальное забывает, в остальном нет ответственности. Берем любое окно и спрашиваем... но сразу же возникает еще один вопрос, что такое «двадцать лет», когда становится возможным гадание, в нем растворяются измерительные приборы, можно спросить о том прошлом, что не наступало, надо отойти на расстояние, чтобы взглянуть. Возможно взглядывание в любой фрагмент. В нем раскроется прошлое, через состояние дыхания. Если смотришь и задыхаешься, значит, внутри жилища было дымно. Кто-то развел костер у себя дома, двадцать лет назад или сейчас. По игре сейчас раскроется первая большая дорога, ее нужно перейти и заскочить в зажатый между домами кусок света, дальше повернуть направо, пройти вдоль стены, поглядывая на выстроенные в ряд подъезды. Подъезды — как провалы в плывущем корабле. Над головой бледные гримасы, под ногами, в трещинах плиток, рисунки странных вытянутых существ, лежащих

на боку насекомых с уходящими вдаль жалами. Если не успею до наступления дождя, то все. А что все? Просто иной вариант развития мира. Я шел так много раз, в разные годы, и сейчас иду не в привычном теле, а во всей памяти, иду и завтра, и вчера, и двадцать лет назад, это представляется множеством следов, наложенных друг на друга изображений. Как ветер, размазывающий силуэт во времени. Дальше начинаются места, на которые смотрел с разных сторон, поэтому могу поселиться и там, и там. Смотрю на скользящего по косой улице человека сверху и иду по той самой улице одновременно. Понимаю, что не могу ответить на вопрос, сколько мне лет. Как только задаю его себе, получаю разные ответы и каждый ответ кажется правдоподобным. Как только приходит ответ, вместе с ним приходит и его внутреннее принятие, затем все сбивается. Скорее всего этот вопрос неважен, поэтому такое и происходит, ответы играют с сознанием. Небо слишком быстро меняется, такого не бывает даже при подвижных облаках и сильном ветре, похоже на популярный эффект в кино, когда камера закрепляется в одном месте, снимаются часы материала, а затем это ускоренно пролистывается. Дальше вторая большая дорога, сейчас я зажат между ними, как между слоями подвижного существования. Как вообще можно успеть куда-либо, если нет понимания временной протяжности? Я могу зафиксировать тело здесь, остаться стоять на улице, и вместе со мной остановится весь процесс формирования. Нет никакого «дальше», я спускаюсь с пятого этажа, смотрю в то же самое окно на социальный дом, представляю, что пойду по извилистым тропам, по срезанным линиям, успеть или не успеть — это непонятно, что такое. Только к воспринимаемому добавлен тонкий звук, плотный

воздушный свист. Удивительное состояние. Я сам могу выбрать, пойти ли дождю в данное мгновение или пропустить себя до гаражей. Вся ситуация находится внутри воли. Какой воли? Она неощутима. Надо поскорее падать на землю и кутаться от дождя, чтобы меньше вымокнуть. Отсюда многие вещи видятся по-другому, воля и память в том числе. Память оказывается не застывшей, а подвижной, залегающей на происходящее сейчас. Не подземным слоем залежей тяжелого опыта, а тем, что можно увидеть перед глазами, что может удивить. Могут ли предчувствия и воспоминания поменяться местами? У них нет мест, они могут перетечь друг в друга. Когда выйду из подъезда, дождь уже будет идти, и все гадание можно выстроить на альтернативе: закончится ли он, пока дойду до гаражей. Как же это чудесно, как же здесь хорошо.

Если вернуться в то воспоминание. Мы стоим втроем около торгового центра. Светит солнце. Воздух дрожит и мнется. Воздух как морщинистое лицо. Тот момент не содержит явных событий. Но событий не так много вообще. Даже во время приступов не видно событий, есть давление данного момента, как во время войны, впечатление производит не свист в пространстве, а общая тяжесть. Паника также приходит не от события, она рождается внутри разогретого сознания как некая сущность. Событие отвлекает. И там, около торгового центра. То, что нет событий, не значит, что ничего не происходит, а наоборот, происходит слишком много важного. Этот момент не

менее содержателен, нежели момент проявления научной или психоделической революции, или момент бомбардировки, ядерной катастрофы. Сейчас июнь 85-го, скоро мы уедем до конца лета в деревню, будем переклеивать сгнившую крышу, а пока здесь, в летнем ожидании. Этот момент хранит в себе будущее. Если собрать все видимое в охапку и внимательно прочесть, станет ясно все, что будет дальше, и не только здесь, но и везде. Давайте вдохнем приятный летний воздух и погадаем. Кто из нас станет шизофреником? Если сейчас из-за угла появится зеленый москвич, то...

В середине июля 85-го в одном из районных центров Псковской области, вечером, крестный отвел меня в городской парк, показал танцы. У входа мигали лампы, как у новогодней гирлянды, люди заходили и выходили. Громко играла музыка, но мало кто танцевал. Видимо, стеснялись. Прохаживались туда-сюда, оценивали ситуацию. Места были залиты синим светом, все чего-то ждали. Наверняка там прохаживалась местная шпана, крестный вел себя уверенно, ходил, что-то рассказывал и хохотал. Может, он и был местной шпаной.

Когда вернулись в дом, там работал телевизор, шел фильм про Робин Гуда. Я сел на табуретку, уставился в экран и замер от удивления. Происходящее на экране поразило. В тумане появился человек с головой оленя, он оказался волшебником, дальше случилась битва с колдуном, сюжет как обычно не был понятен, но этих отрывков оказалось достаточно, чтобы их достроить в свою историю. Меня уложили спать на печи, но уснуть не

получалось, впечатления о синем парке с громкой музыкой, о волшебниках в тумане и о теплом темном воздухе перестраивались внутри, складывались в общую картину удивительного мира. Помню прекрасно тот вечер и то, как дрожал от внутреннего счастья. Это было полное отсутствие тревоги и осознание сотканной чудесной ткани, по которой можно гулять в мыслях и чувствах, добродушного и разнообразного будущего, и понимание, что оно никогда не закончится.

Это не закончится никогда!

На следующий день мы оказались в избе со старушкой. Она ходила скорченной, закутанной в теплые платки, несмотря на лето, и припевала себе под нос. Рыскала по дому в поисках чего-то. Мы остались с ней наедине, она начала петь матерные частушки и хихикать. Сидела, поглядывала на меня и смеялась сама с собой. Прибежала ее родственница, спросила с криком, где она взяла спиртное. Легла на кровать, постонала, затем снова вскочила и принялась кружить по комнатам в поисках непонятно чего. Позже мне рассказали, что в деревне ее считают колдуньей, хорошо, что позже, так бы перепугался. Кажется, я сливался в ее глазах с какими-то невидимыми людьми, с призраками. Она иногда смотрела замутненным взглядом сквозь меня, обращалась к кому-то еще, а затем, словно разглядев, четко зыркала и хохотала. Вела себя как клубок, катаемый игривой кошкой. Есть гигантская невидимая кошка, бросающая ее то на кровать, то дергающая по избе. Остальные старушки в деревне и селе, родом из XIX века, усталые и тихие, а эта кружит и вьется.

Сколько заходили к родне, везде старые почерневшие иконы в углу, железные кровати, клеенка на столе. Везде рады, обнимают и плачут.

Сели за стол. Родня поглядывает на меня и улыбается. У них темные точеные лица. Они как застывшие внимательные птицы. У нас похожи носы и глаза. Смотрим мы тоже одинаково: настороженно, слегка повернув голову. Еще кажется, что когда работает черно-белый телевизор, они ничего не понимают из того, что там говорится, у них другой уровень восприятия звука. Они живут не в 85-м, и не в 55-м, а в некоем своем времени или не во времени вообще.

Мы общаемся несловесно, они ничего толком не говорят словами, мне тоже стеснительно говорить. У нас одна кровь, и когда засыпаем, падаем в нее. Может быть, если смотреть из окна, с другой стороны, мы одинаковы. Если подкрасться к окну в полдень и взглянуть, нас будет не отличить.

Тело липкое, с приклеенной летней пылью, я мелкий, сижу, спрятавшись, а сверху шевелится воздух, так, что видно глазами, весь присутствующий кусок пространства склеивается в разумную и заботливую сущность, играющую со мной как родители с долгожданными младенцами, теребящую за улыбающиеся щеки. Определенно, оно и светлое, и темное, и играет не только со мной, но и с бабушкой, и с тетей Тоней, щекочет их и вдует им в уши приятный покой. Растекается как золотце, как багровый нектар, кровью по крови, во взглядах живых и мертвых. Если проглотит, то не разжует, а оставит храниться внутри, как новый плод, бережно и заботливо.

Присутствие в деревне и городе было разным. И то, и другое, пугало, но каждое в своем ритме. Наш деревенский дом сгнил, в стенах завелись не только жуки и мыши, но и ласки. И стены постоянно звучали, шуршали, шипели. Это отвлекало от шума присутствия. Но когда переходил в сон, шумы сливались и усиливали друг друга. Я не представлял, с кем можно об этом поговорить, это казалось куда более интимным, чем интерес к голым телам. Когда спишь в доме с шипящими стенами, сны тоже шипят.

Возвращался из деревни, рисовал свои переживания в виде карты, отмечая озера, места присутствия, шумы, людей. Места страхов всегда находились внутри помещений. Гул и присутствие в лесу, у озера — не страшное. Озера — земляные глазницы, залитые черной солью, и если кто смотрит изнутри, то беззвучно, теребит сознание и порядки — не страшно.

Тот гул был похож на густое пение воздуха, и в нем слышалась подвижная бытийность.

В деревне провести ритуал гораздо сложнее, чем в городе. Надо договариваться с землей, старыми неподвижными людьми, спрашивать кого-то о чем-то.

Г.В. рассказал, как один раз его сокамерник проигрался, лег на верхнюю шконку, достал лезвие, перерезал себе руки и ноги, накрылся одеялом и погрузился в тишину. Вскоре сверху начало капать, они поднялись, посмотре-

ли, а там такое. Сказали ему, что зря он так, все к нему относятся с сочувствием и готовы свои деньги ему подарить, потому что людское всегда идет впереди корысти. Не стоило так серьезно воспринимать произошедшее, нужно было поговорить с людьми, и все бы разрешилось само.

Когда Г.В. это рассказывал, я представлял себя на месте того человека, только вместо одеяла укутан памятью. Подходят разные люди и говорят, что я неправильно все понял, здесь все по-людски, а я им отвечаю, что дело не в понимании, память — как погребальное покрывало, она тоже белая, дымная.

Вышли с Г.В. на кухню, он сказал, чтоб я перестал дурить и приходил в себя.

Можно съездить покупаться на озеро, пострелять в лесу.

И.Г. сказал, что у него есть автомат. Все нормально. Все же нормально. Хоть сейчас. Выходим, тихо садимся, едем.

Мне надо сначала поставить музыку. Почему-то чувствую, что должен поставить итальянское диско и рассказать, как слушал когда-то пластинки Тото Кутуньо и заучивал непонятные тексты. Лашатемикантаре калакитарамано лашатемикантаре солонитальяно. Брат, все нормально, сейчас поедem. Да, не вглядывайтесь сейчас в меня. Сейчас. Сейчас. Короче, я в первом классе вышел к доске и спел песню на итальянском, как ее тогда помнил, все дико угорели. Потом учительница пения послушала и спросила, могу ли я петь на русском. Сказал, что не могу.

Она спросила, стесняюсь, что ли. Да непросто стесняюсь. Могу петь только заклинания. Но не ответил так, а тупо побледнел. А если петь русскую песню... Она сказала, что надо выучить песню про то, где водятся волшебники. Выйти перед классом и спеть. Это как вскрыться, тихо лечь, начать капать собой, чтобы учительница подошла и объяснила, что я все не так понял, здесь все по-людски. Короче, сейчас поставлю музыку, сами зацените, зачем лишнее говорить. Лучше ответить песней. А-а-а, я не могу ничего рассказывать, когда вы так смотрите. Давайте послушаем и представим, как идем по утру, по пустой улице.

Г.В. сказал, что я без повода загоняюсь. Итальянская — так итальянская, вообще не проблема.

Есть ощущение момента и я его ценю, просто теряю равновесие, и то, что воспринимается, раскачивается. Как будто мы сейчас едем на теплоходе и вокруг волны. Еще пошел маслянистый дождь. И вы все поете песни.

Сгущения расходятся, раздуваются, растворяются, перестают небытийно висеть и содрогаться. Так живые помогают мертвым.

Внутренний гул и шипение как шелест, тысячи птиц трутся друг о друга или осыпаются необъятные рощи. Множество трясущихся, касающихся перьев. Шелест способен сложиться в мелодию.

Заклинания, молитвы, главное — нам надо быть вместе, держаться, петь что-нибудь, под любую музыку, благословлять, прощать друг друга. Проводить службу.

Когда происходит служба здесь, она происходит и там, только ее проводят ангелы. И наши службы соединяются, и если прислушиваться, можно слышать пение оттуда.

«Города, как и люди, отличаются друг от друга. Одни стремительны и нетерпеливы в неукротимом росте, другие же стараются сохранять гармонию старого и нового...» Там был большой текст, я выучил его наизусть. Мама сказала, что я буду участвовать в конкурсе о нашем городе, и нужно выучить этот текст. Универсальный текст, подходит для любого города. Приехали. Там викторина, стол, старшеклассники, подошла учительница, спросила, подготовился ли я, покивал. Подошла старшеклассница, прошептала на ухо, что скорее всего будет вопрос про земляничную рассаду — это немного напрягло. Про что? Начались вопросы. Какие еще вопросы? Сидел и повторял про себя текст. Полтора часа просидел, не сказав ни единого слова. Происходящее казалось диким бредом, хотелось исчезнуть, испариться. Какая земляничная рассада? Викторина закончилась, учительница подошла и, улыбаясь, сказала, что ничего страшного, еще будет много викторин, еще смогу себя проявить. Пришел домой и сказал, что это был какой-то идиотизм. Это осень 89-го года. Пошел Д., поговорили как обычно, а затем сказал ему. Знаешь, что я думаю о нашем городе? Города, как и люди, отличаются друг от друга... Он выслушал, округлив глаза, а затем захохотал. На самом деле, мы живем не в городе. Мы живем внутри пенистой памяти, внутри пористого, изъеденного термитами, древесного универсума. Там нет осени 89-го как таковой.

Д. показал фигурки в серванте. Там стекла, зеркала на дальних стенках, все хрупкое, стоят фигурки животных. Как это держится в равновесии? Как при головокружении. Надо подойти и взглядеться в свое отражение в лакированном серванте — оно размытое, когда раскрываешь рот и показываешь, как дышит рыба, оно еще колеблется, его растягивает по сторонам свет из окна. Как в любой осени. За окном все пульсирует, сжимается в мелкую картинку с клубами дыма, нет еще никакой культуры, никаких знаков распознавания себя, все нервное и ожидающее. У нас все впереди. У нашего города интересное будущее, яркое, прекрасное.

Мы сможем мыслить как захотим, а не так, как нам объяснят. Как захотим определять или отмечать отношения, ценности, выделять причины. Как захотим. Им безразлично общаться с нами, неприятно думать о том, о чем мы думаем. Мы для них как сантехники, выползшие из канализации, воняющие отходами человеческой деятельности, только умственными. Они боятся, что мы расколдуем мир, все вывернется и разольется, перестроятся порядки. Мы сможем мыслить как захотим.

Сейчас еще рано, мы начнем мыслить после полудня, когда тени соединятся с домами.

Не обращал внимания на присутствие и взгляд хтонического, а когда вернулся назад, разглядел. Оно смотрело всегда, но общая суета отвлекала от вглядывания. Хтоническое как гигантский слизень, наблюдающий за. В какой внешности оно меня видит. Скорее не во внешности, а в волевых импульсах, в проявлении волевого вообще, в задоре и унынии.

Мы сможем мыслить как захотим. Выскочим из нависающей неврастении. Как захотим, а не как навяжет невроз.

Поверхность покрылась мелкой мозаикой, шестиугольниками с легка вибрирующими сторонами, затем фигуры стали шерстяными, серыми, и стали зарастать, превращаться в сплошную паутину с неразличимыми деталями, в гигантское дымное плетение. Это плетение — как пыльная дорога, идя по которой, втягиваешься внутрь себя. После каждого дальнейшего шага только что видимый слой рассекается, мутнеет, из него вываливаются нити, как из старой тряпки. И кажется, что можно как со сном или нырянием на глубину, когда захочешь, волевым усилием вернуться обратно, но это не так просто. Возникает страх остаться еле подвижным сознанием внутри слоистого комка, неспешно смотанного клубка. В утке яйцо, в яйце иголка, в иголку вдеты нитки, сшита одежда, одежда стала мала, сжалась и исчезла. Туман как мелкая пена. Определенно, это движение в город, только без объектов, объекты — потенции внутри пены.

Ехал в автобусе мимо дома, посмотрел в проходящее окно, там был портрет-фотография на стене. Портрет расширился и стал виден не как должно быть с такого ракурса, он повернулся за мной и стал управлять пространством, автобус остановился и стало ясно, что он — взгляд, изображение, сущность — не пускает, не дает дальше ехать, просто никуда ехать не надо, все уже здесь. Мы приехали в город, можно выходить.

Первое впечатление от города: нет ни одной ровной улицы, все изогнуто, и есть ощущение, что изогнуты направления в целом, смотришь через толстое неровное стекло или систему плавных зеркал. Чтобы смотреть на восток, нужно идти взглядом за дома, закручивать в себе видимое. Не получается показать рукой «восток там». Восток оказывается действием, чередой движений, а не только направлением.

Интересно, как там строятся храмы, как освящаются, какие псалмы поются.

Еще интересно, как я выгляжу со стороны. Если, находясь в городе, подойти к зеркалу и взглядеться, можно лишиться речи, выхватить такой испуг, который не пройдет никогда. Понятно, что там не будет привычного лица. Некое птичье зрение и нефиксируемая телесность, парящая в системе зеркал?

Город — не место, а режим или способ. Когда говорится «мы приехали в город» — возникает сомнение. Можно сказать «город наступил» — так будет точнее. Наступил — заполнил, захватил, стал подавляющим способом восприятия, как ночь или утро. Город окутал туман. В смысле не «туман опустился на город», а город опустился на туман сознания и покрыл его как покрывало. Город опустился, и изображения внутри зеркал расслоились. Растворяешься в нем как в мягком тепле, приятном предвкушении, аромате, нежном взгляде. Он растекается по мелким сосудам как целительный нектар. Становится не хорошо и не плохо, а так, как раньше не ощущалось. Можно выходить. Здесь есть редкое присутствие. Не возникает вопроса целесоо-

бразности, или «что здесь делать». Или страха от того, что портреты на стенах могут управлять пространством. Все как везде, только более маслянистое и дрожащее.

Ехали в поезде с М.К. Посреди дороги два последних вагона прицепляются к другому поезду. Можно зайти в соседний вагон сейчас и через час, и обнаружить там совершенно иных людей.

Пожилая женщина стояла около раскрытого купе проводницы и убеждала, что ее сон — не сон, а именно так все сейчас и происходит.

Рассказал о двух выбросах последнего времени, когда под вечер мог восстановить все детали утра-дня, до минут, до случайных взглядов. При том, что специально не запоминал, это случалось как отпечаток, или кино, которое можно пересмотреть.

Первый момент связан с движением: ехал на велосипеде километров семь. Когда лег спать, закрыл глаза, понял, что «помню» всех, кто шел навстречу, «вижу» машины, которые поворачивали, перегораживая дорогу.

Второй момент связан со службой в церкви: вечером смог «вспомнить» поминутно все действие, начиная с поездки в маршрутке (кто зашел, где сел, куда смотрел), до того, как вышел из церкви. Четырехчасовую службу «видел» детально, как никогда.

Другой опыт — попытка вернуться в двор детства и распознать номера машин, которые там стояли каждый день. Распознал бардовую машину д4306 и зеленую з911, и сейчас есть уверенность в том, что «так и было», но это невозможно проверить.

Возвращение в конкретную дату похоже на круги на воде, только не расширяющиеся, а сужающиеся. Сначала ты вспоминаешь самое общее, где жил, чем занимался в то время, затем находишь рядом знаковые дни, праздники, события, так круг за кругом приходишь в 23 апреля 1993 года, или куда-угодно.

Когда рассказывал об игре возвращения в далекую дату, из соседнего плацкарта, с верхней полки высунулась голова с большими глазами. Подросток лет четырнадцати. Спросил его, мешаем ли мы спать нашими разговорами. Он ответил «мы тоже играли в эту игру» и спрятался под одеялом.

М.К. сказал, что память — естественно капитализируемое, и сейчас память продается лучше всего, гонки гаджетов — это гонки памяти.

Во время беседы показалось, что причиной депрессий последних лет, всех этих темных покрывал, сгустков смолы, может быть работа с памятью. Тело памяти слишком растянулось, и вместе с ощущениями «сейчас», возник тяжелый давящий слой постоянного присутствия иного времени. Те яркие и детальные воспоминания, которые по-началу захватывали, в один момент попросили расплатиться. Если так ярко мыслить прошлое, оно налезет на настоящее и придавит его собой.

Тело памяти стало удерживать физическое тело в неподвижности и фиксации на предметах за окном. Депрессия появилась как естественный фон неподвижности. Зачем нужно было прилагать столько усилий, чтобы вспомнить расстановку предметов в домах друзей детства, шторы на окнах, типы квартирных звонков? Казалось, что это приведет к пониманию и момента, и времени, и всего. Возможно, привело. Но тело памяти стало слишком подавляющим.

Тело памяти хранит куски времени.

Сколько я вспоминал детали детских ощущений, скрипы, страхи, ритуалы. Появлялись чувства, что не смог сдерживать обещаний, данных самой жизни, когда прятался от неясностей мира внутри своих ритуалов. И чем большее воспроизводил отрывки ритуальных действий, тем тяжелее становилось.

Рассуждения о причине слишком поверхностны. Слои памяти являются не причиной, а средой, в которой может селиться депрессия. Они задают пространство обитания.

Может ли быть депрессия у птицы, камня, дерева, текста, воды, категории мышления?

Бергсон в «Материи и памяти» намекает на слабость тел памяти животных. Настоящее животного слишком поглощает его существование. «Прошное (животного) интересует его недостаточно». Это удивительный момент. Откуда следуют подобные выводы?

Птицы общаются через неподвижности, недвижения, застывания, отсутствия. Фиксация в пространстве может не хуже пения передавать послания. В недвижении птица погружается в тело памяти, и это недвижение ярче, чем у человека. Человек подвижный и неподвижный меньше отличны друг от друга, чем птицы.

Отсутствие — послание тела памяти. Оно не «сейчас», но «здесь». Через него просачивается время, и не так монотонно и скучно, как через часы или метроном. Депрессия селится в отсутствии не как в дыре, но как в цельности и плотности, как в сложенной складке бытийного.

Поглаживание тела памяти вызывает ностальгию.

«Сумме теологий» не хватает вопроса 58”: входит ли в ангелов депрессия и ностальгия?

Нам сложно представить ностальгию у птиц, потому что птицы не улыбаются и не закатывают в сладости глаза.

Сведенборг: «Ангелы и духи, подобно человеку, одарены памятью...», «Духи и ангелы наделены такой же памятью, как и люди», «я видел, как из памяти духов вызываемо было все, что они думали и делали явного и скрытого в обществе других духов». По Сведенборгу, человек уносит «туда» свое тело памяти, из которого выходят и будто снова свершаются события. Тело памяти становится явным, видимым. Один из самых таинственных моментов работы Сведенборга — часть 466, касающаяся облика тела памяти. Внешняя память видится как хря-

щеватая субстанция, а у людей, неразумно развивавших тело памяти, внутренняя память видится как твердый нарост, протыкаемый изнутри сухожилием. Память, населенная ложными понятиями, предстает как волосистость, а память, любивших себя и мир, как липкая среда. Память, посвятивших себя науке, оказывается мрачной, более того, обращающей лучи света во тьму. У лукавых и лицемеров она становится черным деревом, отражающим свет. А память тех, кто жил в любви и вере, мягка и лучиста.

Когда «там» встречаются черные деревья, дрожащие облака, камни, шипящие шаровые молнии, бродящие по просторам, все это может быть собранием тел памяти. Ряды птиц, шелестящей пылью взмывающие в ясную пустоту, могут покрывать тело памяти ангела.

Намотки я выразительно ощущал в детском бреду, во время болезней. Психическое тело наматывалось как изоляционная лента, с каждым кругом все плотнее.

Заболел лет в пять. Бабушка сидела рядом и читала желтую книжку «Сказка о царе Салтане», наверху была такая плоская люстра, справа окна, закрытые темными шторами, свет мерцающий — то ли с лампочкой что-то, то ли в люстру мошка попала, мельтешит, а тени от нее по всей комнате. И начались эти повторы. Царь Салтан туда, царь Салтан сюда, князь Гвидон туда, князь Гвидон сюда, круговые движения, говорящие животные.

Мельтешащий свет и повторы вводили в состояние намотки. Воздух дрожал, расслаивался, колыхался как занавеска.

Смысл театра.

Понял, что повторения в сказках символизируют намотки, вышел во двор, стал собирать палки и камни. Палки и камни нужно использовать как оружие и амулеты, когда начнется расколдовывание пространства от намоток. Намотки стягивают все существующее, подобно обручам на бочках, только они идут не параллельно, а внутри друг друга. Из-за намоток стянуты возможности, скован воздух, все обернуто гигантской изолентой.

П. Ф. Говорит о ритмических перегородках, «Что же такое культ? — Чистый ритм... Из чего в основе складывается ритм? Из системы изолирующих перегородок; ритм церковной жизни есть иное выражение ее слоистости, ее скорлуповатости, ее концентричности.»

П. Ф. «Обряды — ряд изолированных скамеек...»

Ходил по двору кругами, потряхивая найденными палками. Разматывал невидимую слоистость. Д. смотрел на меня и хохотал.

Сначала у меня была серая осенняя куртка, в карманах камни, листья. Затем синяя куртка с порванными карманами, через дыры в которым можно было укладывать тайные вещи внутрь. Там я хранил колокольчики, записки, коробки с камушками. Мог вывернуть карманы, показать, что ничего нет, а все есть, только спрятано внутри куртки.

Книги, находящиеся в разных квартирах, часто совпадали. Дома у соседей были примерно те же книги, что и у меня, будто кто-то брал и разносил их по квартирам района. Причем попадались такие, что явно их никто не читал, они просто присутствовали в шкафах, как застывшие сборники заговоров. Одной из таких книг была зеленая, с худым и странным человеком на обложке, типа рыцаря, с глазами без зрачков, «Амиран Дареджаниани» — грузинский эпос о сражениях, царях, халифах. В нем перечислялись иерархии вассалов, были картинки: сражение с птицей, с драконом, и даже носорогом, штурм крепости. Эту книгу я воспринял как волшебную, стал носить с собой на улицу и во время ритуалов открывать на определенных страницах. Забегал в кусты, открывал на картинке сражения с птицей, прислушивался к ощущениям.

Если сказать «все детство я провел, выстраивая ритуалы», — это будет близко к правде. Когда спускался из квартиры во двор, в подъезде, мог встать, раскрыть книгу на картинке и зафиксировать внутри, что происходит нечто тайное, показать картинку пространству вокруг. И это не обязательно сражение или понятное действие. Возможно, ожидание, разглядывание, собирание времени. Время можно собирать как пыльцу.

В нашем подъезде лестницы были вывернуты, а в изнанки воткнуты спички. От спичек исходили черные пятна. Кто-то брал и кидал горящие спички с клейкими ножками в потолок и в изнанки, они прилипали и коптели по кругу. Да не только в нашем подъезде, а везде. Я ходил и считывал послания, перерисовывал конфигурации

и закопченные зоны в тетрадке, обозначая внутреннее и внешнее разными знаками. Это границы ритуала.

Так и ритуал снятия намоток. Разматывание лески, клубка, катушки с нитками. Вынес нитки и замотал кусты во дворе, чтобы затем посмотреть на них со стороны. Каково это: быть замотанным.

Не возникало ощущения, что ритуалы можно потреблять и ждать от них какого-то внешнего выражения. Скорее возникало чувство присутствия иного и языка. Это не странное действие, влияющее на что-то, а действие в себе, раскрывающее себя ради иного. В момент приходит понимание, что ритуал — живая сущность, со своей волей, выстраивая его, ты проявляешь его здесь, он радуется своим проявлением и дарит возможность заглядывания в свой мир. Там рядом то иное, на которое можно наткнуться лишь так. Без проявления живой сущности оно останется неподвижно присутствовать и показывать, будто его вовсе нет. Ритуал собирания времени — не действие собирания времени, а проявление мира, в котором время собирается. Ждать от ритуала — как ждать от человека, ты ждешь нечто, но оно не обязано совпасть с твоим ожиданием, и еще оно не внешнее, а проходящее в себе. Оно там, где ему, а не тебе необходимо.

Мы пришли в старый дом. Прогнивший от сырости. Болтающиеся ставни, сваленные провода — когда-то здесь бы-

ло электричество. Обои с пятнами от влаги, наклеенные на неровные стены коричневые газеты. Стол с клетчатой клеенкой, стакан, с черным песком и мертвыми мухами на дне. Покинутое жилище. Когда-то здесь жили, спали, переживали. А теперь так. Можно взять любую картонную коробку, отнести в лес, оставить лет на десять, с ней случится примерно это же, она скорчится от времени, почернеет, почти исчезнет. Исчезнет не материально, а как вещь в мире. Этого дома в мире нет. Он был раньше. Мы внутри прошлого.

Почему мы не можем сделать церковь прямо здесь? Принести Евангелие, положить на стол и начать служить? Приберемся, подметем, выбросим лишнее.

Будем ходить по солнцу или против солнца? Зависит от того, хотим мы входить в память прошлого или память будущего.

Ходить против солнца и выстраивать внутри памяти город. Несолнечный город.

На чердаке несколько птичьих гнезд, крыша раскрошена, внутренность дома соединяется с небом через дыры в потолке. Те птицы, что живут на чердаке, могут играть роль ангелов в нашей службе.

Сколько мы будем молиться? Определенное время или сколько сможем? Если сколько сможем, что-то не то, получается, мы прервемся усталостью. Усталость не должна прерывать. А если определенное время — тоже не то, кем оно может быть определено.

Если мы должны совершить конкретные действия, то где литургист, который это пропишет? И скажет «ставьте стол туда». И скажет «ты стой здесь и пой». «А ты читай». «А ты делай дым». Может быть, одна из птиц спустится и объяснит, что делать, чтобы быть похожими на них.

Это новое жилище. Мы как бременские музыканты или персонажи «Зимовья зверей». Один из основных сюжетов: приходят в дом и не знают, что там делать. Как обжиться, наладить будни, превратить дни в рутину. Только в нашем случае это не дом, а церковь. В нас есть трепет перед данным моментом, мы не хотим нарушить сложившееся, стоим и представляем, как пригласим сюда благодать.

Где находится алтарь?

М.К. написал как-то раз, что меня интересуют секреты. Это не совсем так. То, у чего есть секрет, это оккультное. Тайное может быть спрятанным потому, что оно пряталось, и тогда у него есть секрет, хотя бы «место», а может быть таковым просто по своей природе. Оно не пряталось, а всегда «там» было. Карта сокровищ есть у оккультного, но ее нет у естественно тайного, если карта естественно тайного составляется, тем самым оно воспринимается как оккультное и прячется. Но на самом деле там нет карты.

Одна из функций оккультизма — перепрятывать.

Оккультное разлито и размазано тонким слоем, как жидкое повидло, вытекшее из разбитой банки.

Компьютерные игры, построенные на секретах, поставляют большие куски оккультного хлама, создаваемого каждое мгновение.

Игра в секретники — детский оккультизм.

Поиск места — не обязательно оккультное занятие, в отличие от составления карты сокровищ. Поиск места может быть рассуждением о «месте» вообще.

Всякие мысли о пространстве есть мысли об алтаре, а всякие мысли о времени есть мысли о литургическом времени. Когда мы копаемся в формах, мы ищем место, где установить алтарь, пытаемся выделить потенциально священное. Не измеряем и не оцениваем, а подмечаем зоны наибольшего сгущения, подвижные области и то, что будет соприкоснуться с невидимым светом. И время — не фактор, а среда ритуального движения, цепочки-порции возможных чудесных преобразований.

И даже в схороненном небытии есть место ритуалу. Закрытое и сжатое покачивается в ритм своего дыхания, а значит, ждет.

Поиск места не означает установления границ. «Где я нахожусь?» и «где спрятаны сокровища?» — два разных вопроса. Мысли об алтаре — не мысли о спрятанных сокровищах, а мысли об обнаружении себя. «Я» не обнаруживается благодаря секрету, но проживается как алтарь существования, как место движения сознания.

В сборнике об иерусалимизации пространств наткнулся на статью Б. Баерт «Иеротопия, Иерусалим и Древо Свя-

того Креста». Иерусалимизация — производство малых Иерусалимов, сакральных мест.

В детстве бабушка научила молитве-оберегу, она начиналась так: «В городе Иерусалиме стоит дерево купоросное». Сразу показалось, что у этой молитвы иной ритм, что она может произноситься не в благоговении, а в некой хитрости. Когда ходил в первые классы школы, в ранце носил записку с этой молитвой. «Кто эту молитву знает, тот нигде никогда не пропадает». Как такое может быть? И что такое «не пропадает»? Видимо, там привязывается смысл «не попадает в беду». Вряд ли «пропадает» там произносится как проваливание в иное. Тогда меня сильно интересовали подобные молитвы-заговоры, у бабушки была тетрадка с переписанными от какой-нибудь другой бабушки текстами.

Когда произносил эту молитву, думал о Иерусалиме как о тайном городе с деревом. Иногда смотрел на какое-нибудь дерево и представлял, что вокруг него Иерусалим. Только не повсюду, а в особой окрестности.

В статье Баерт сакральное пространство — не место, но процесс, набор событий, связанных с крестовым деревом. Начинается пусть с того, что Сиф, сын Адама, приносит заболевшему отцу три прута от райского дерева. Адама хоронят в венке из этих прутьев, из венка прорастает дерево. Дальше-дальше-дальше, дерево попадает в Иерусалим через Давида, Соломон его срубает для строительства храма, царица Савская узнает в нем будущий Крест, на котором будет распят Спаситель. Это сюжет нескольких апокрифов. И сакральное пространство — путешествие от рая до Голгофы.

По нашим мыслям, дерево — это то, что не может путешествовать, оно созерцает пространство вокруг себя, но не перемещается. Крестное дерево же в апокрифах совершает таинственное путешествие, оно переносится в новые места, обжигает, разделяется. Оно — как человек, идущий от райского покоя до смертных мучений, проходящий деятельность и идейность.

Если помыслить сакральное пространство как набор ощущений пространства вообще, как путь по пространству, с первых мгновений до последних, высказывание «всякие мысли о пространстве есть мысли об алтаре» обретет четкость. Человек своим существованием строит алтарь. Но здесь сразу же встает вопрос о несакральном пространстве: как его улавливать? Вопрос «где находится неалтарь?» не проще вопроса «где находится алтарь?»

Сакральное пространство — как фильм, собранный из особых кадров.

Что вспоминал Адам перед смертью? Не знаю почему, но мне страшен этот вопрос. Не так много могу представить вопросов, которые пугают.

Возможно, алтарь ткется из молитв, читаемых человеком в течении жизни. Для произнесения молитвы выбирается место и время, эти места складываются в фильм, называемый алтарем.

Что это за особые кадры и особые места, из которых складывается алтарь? Возможно, это те места, которые мыслятся как священные. Не обязательно наделяются каче-

ством «священный» волей, а в том числе мыслятся так необъяснимо. Как места ритуальных конструкторов, так и места, в которых ощущается внезапное присутствие.

Литургическое время представляет ритм фильма. Здесь же встает вопрос о монтаже. Сам монтаж как набор склеек оказывается путем и пространством священного.

У алтаря не может быть карты, карта может быть лишь у оккультной части алтаря.

Мы не спрятаны, не скрыты, приехали и стоим среди отсыревших стен.

Где находится алтарь?

К моменту нашей растерянности внутри нового пространства нужно добавить дорогу сюда, и все намерения «до», наше знакомство, соединение нашей воли, симпатии, отстранения, мечты. Во время нашего движения этот отсыревший дом понемногу превращался в церковь, ангелы собирали птиц и селили на чердаке, показывая, как себя вести.

Виктор Геннадиевич — подвижный и взглядчивый, провел треть сознательной жизни в заключении, его уважают и здесь, и там. Мы уселись за столом, В.Г. сказал, что во мне есть правильное нервное ощущение происходящего, не стоит никого близко к себе подпускать, не стоит доверять

проходим. Собственно, я доверяю им, когда они подходят и молчат, и не доверяю, когда говорят.

Доверие.

Спросил двух друзей о доверии, кому и чему они доверяют вообще. Один друг ответил, что это убийственный вопрос, который его преследует. Второй ответил, что доверие — часть терпения, спросил его сразу же, не пугает ли его этот вопрос. Его испугал намек на испуг, что этот вопрос может пугать.

Казалось, у меня есть доверие миру молчащему и недоверие миру говорящему. Доверие взглядам и чувствам, и недоверие словам и произносимым смыслам.

Недоверие сформированному языку.

Недоверие названиям и обозначениям. Когда говорили, что «это» называется «это», это вызывало недоверие, оно может называться по-другому.

Есть сны, которым есть доверие, они видятся, есть сны, которым нет доверия, они нашептываются.

Чем меньше сообщений, тем больше доверия.

Было доверие и пространству, и страхам, они не вызывали ощущений «обманной мимолетности», определенно за ними стоял мир.

Доверие ритуалам. Как можно принять ритуальные действия?

Доверие зажигаемому в пространстве свету, лампам, люстрам, светильникам?

Доверие местам, поворотам, сменам стен, лабиринтам, маршрутам?

Доверие запахам.

Доверие любви и ужасу.

У меня нет доверия к тому, что называется традицией, такое чувство, что настоящая традиция заперта в подвале, а взамен выставлено нечто фантомное, похожее на запертое, если смотреть сбоку, но сильно приспособленное под корыстные нужды.

Если от круглого поворота сдвинуться к северу, начнутся болота. Мягкие и сырые, как полусонное тело и утренний дым над. В дыму их доверие. В дыму души недавно ушедших животных и насекомых, они складываются в мокрую слоистость, вязкое присутствие. Шуршание, но не то, что ощутимо здесь.

Пустые ритуалы на то и пусты, что в них можно возвращаться и наполнять. Они не прикрепляются по времени существованием, поэтому и доступны в любой момент. Ты их расставляешь по жизни как запасы, комнаты, в которых никого нет.

Строитель пустых ритуалов строит дома для себя прошлого и будущего, отстраняет места, в которых сможет существовать. К этим местам будет доверие, они построены им самим.

Строительство пустых ритуалов — такой же сложный и оправданный труд, как строительство домов. Дома строятся пустыми и в некоем смысле универсальными. Они заполняются человеческим существованием затем, после. Человек кладет ковры, клеит обои, устраивает уют. Так и с пустым ритуалом. Только можно в него вернуться, как в незанятую комнату.

Вспомнил мультфильм «Вокруг света за 80 дней», там был Фогг, Паспарту и Фикс. Фогг и Паспарту с прямоугольными лицами. Фогг и Паспарту двигались по местам, а Фикс им мешал. Каждый раз, когда Фогг куда-то собирался, он набирал в дорогу всякие вещи, которые пригодятся в путешествии, типа газету, чтобы потом подтолкнуть ключ, запирающий дверь и чтобы он упал на газету, и эту газету можно было бы протащить под дверь. Мы бежали с моря с У.Д., чтобы успеть на очередную серию. Прошло пятнадцать лет и У.Д. превратил свою квартиру в герхату, а сам заехал за забор. А тогда мы бежали и прикидывали, что сегодня будет с Фоггом и Паспарту. Паспарту казалось самым нелепым из мыслимых имен, мы так обзывали друг друга. И еще я поражаюсь мышлению Фогга, тому, как он предвидит испытания, хотелось жить так же. Когда мама или бабушка звали куда-то пойти, я брал с собой предметы: колокольчики, запчасти, изоленту, кусок найденной трубки, камни, перья, клей, но только не для бытовых нужд, как Фогг, а для ритуальных. Мы поедем на автобусе, зайдем в маленький дом-барак, выйдет какая-нибудь мамина подруга, со страхом в лице расскажет об ужасах, которые приходят к ней во снах, а я достану марлю и скажу, что теперь эти ужасы будут оседать здесь, а не в ее ощущениях. Но это еще не ритуал, нужно повесить марлю

на окно, как от комаров, и наклонить светильники, чтоб на окно шел полумрак, и чтобы цеплялась проступающая в воздухе маслянистость. Марля становится черноватой, как от грязного процеживания, эта копоть и есть застрявшие ужасы. Вместо марли можно использовать перекрестный свет от нескольких ламп, только тогда надо хорошо их закрепить на ночь. Или мы пойдем в сельский магазин, мимо разрушенного завода, мимо истлевшего кирпичного тела на берегу озера, и чтоб скопленный и нависший опыт, ароматы и намерения, не коснулись, надо провести вокруг себя защиту, обвести себя кругами.

Ритуал наполняется смыслом через доверие.

Смысл наполняется ритуалом — так вернее.

Но прежде, чем написать «теперь в нем есть смысл и связь с миром», нужно пройти невесть через что, осуществить путешествие. А для путешествия необходима карта. А карту сделает метапаранойя. И путешествие окажется оккультным блужданием, подгоняемым страхом, ритуалы сведутся к оберегам. Карта появляется при отсутствии доверия. Нет, конечно, для путешествия карта не нужна, можно отправляться просто «в», доверяя миру.

Ритуал — текучее, обряд — список, церемония — круговая звенящая расстановка. Ритуал прорастает цельно и скрыто, как любой организм. Ритуал использует обряды и церемонии как одежду или украшение. Пространство ритуала подвижно, пространство обряда — как страницы или перечисление, пространство церемонии — слегка содрогающееся.

Куски мира можно изучать по ритуалам-обрядам-церемониям, которые в нем существуют.

Место ритуала, сцена сакрального театра, пространство действия, создается с помощью специальных высказываний и песен. То, что звучит, складывается в ограждения, заборы. Можно представить как слова складываются в ограничитель пространства. Звучание становится завесой. Расчищается место, в котором будет происходить тайное.

Миф подсвечивает дорогу ритуала. Без мифа придется бродить во тьме. Ритуал проживает миф. Миф как светильник.

Миф становится светильником через доверие.

Утро мира наступает вместе с действием мифа.

Пару недель провел в большом доме, кухня — как вся моя квартира по площади. Смотрел по сторонам и удивлялся вкусу бывшего хозяина. Он построил себе дворец с арками и круглыми окнами посреди болот, с сауной внизу. Его расстреляли в 97-м, изрешетили всю машину, тело раздробили.

[25 июля.] Проснулся от выстрела во дворе. Показалось, что хлестнули быстрой плеткой. Д.А. рассказывал, как первое время в ужасе пробуждался от хлопка двери, казалось, что начинается обстрел.

[29 июля.] Смотрел в окно на сидящих на скамейке людей, сначала все было в порядке, затем заподозрил, что их лица слишком хорошо видны, лица увеличены, с такого расстояния нельзя разглядеть детали, а они разглядываются, и тела повернуты как в неправильном изображении, за ними стоит воздушная машина и надувает видимость как шар. Слоеное тесто подковырнулось и снялось с себя, стало как пальцы без кожи — розовые и раздраженные. Хотелось подойти к ним или показать себя, но при мыслях о том, как это сделать, возникало движение в другую сторону, идти к ним нельзя, можно лишь выйти «из», затем обойти дом, хотя было ясно, что их там уже не будет, вместо них будут сидеть спокойные и непонимающие необычности момента, с привычными лицами, несколько не увеличенными. Где их сознание? Явно не «здесь», они могут себя не осознавать сидящими на скамейке, видимое — это проматываемая перед глазами пленка.

[28 июля.] Увидел во сне многоэтажный темный храм, в нем шло приготовление к службе. На втором этаже столкнулся с местным алтарником, мы узнали друг друга.

[31 июля.] По всем новостям заговорили, что ночью в Африке убили Орхана. Год назад мы сидели за столом в подвале, он рассказывал о сомалийской тюрьме, о том, что там вполне цивилизовано. Он был излишне весел, я с трудом попадал в его ритм, слишком часто залипал по ходу рассказов и рассуждений, казалось, он ничего не знает об ужасе и ищет, куда бы залезть, чтобы повеселиться с еще большим задором.

Следом зашел огромный, раскачивающийся человек с раскинутыми руками, как лысая неразумная неваляшка, гигантский карапуз, не понимающий, куда попал. Н. сказал, что его надо выпихнуть за дверь. Я подскочил и толкнул тяжелое тело, он выкатился, однако, через мгновение появился в другом месте, в коридоре «за», оказалось, что есть еще одна дверь, ведущая в квартиру. Выпихнул его снова, закрыл замки. Кто это был? Заблудившийся пьяный сосед? Как в квартире могут оказаться две разные внешние двери, ведущие на лестничную площадку?

Дядя Коля встал поодаль и зафиксировал взгляд на мне. Подумал, что-то не так, раз он смотрит. Затем заметил, что он слегка помахивает руками, как крыльями и улыбается. Изображает птицу или ангела. Большой, кучный, рабочий человек показывает, что он ангел. Пойдем с ним на рыбалку, он воспарит над озером, начнется дождь, он укроет крыльями.

Разгрызенное пространство.

Утреннее и вечернее познание по Августину — познание «до» и «после».

Места по Сведенборгу:

сады с крытыми ходами, в которых деревья и цветы ежедневно изменяются

блестящие и сияющие места, окна и хрусталь,

каменистые,

пещеры с мрачными выходами и щели скал, норы,
зловонные, упитанные испражнениями животных.

Э. рассказал, что И. продолжает приходить к нему ночь за ночью. Один раз И. пришел и сказал, что не умер, а его спрятала мама. Иногда пытается напугать Э., кричит на него, передавая ужас. И. продолжает заниматься музыкой, записывает альбомы, раскрывает свою музыку Э. Он заходит в комнату, на нем черный свитер и джинсы, здоровое лицо, еще не высушенное наркотой, и рассуждает о музыке. На стене красный ковер, к нему прислонено большое зеркало. У Э. выгибаются назад пальцы, превращая кисти в странные веера.

Первый раз увидел И. в 94-м, мы сидели на песке, И. подошел и сел рядом. Он был самым тихим из всех людей, кого знал, ходил бесшумно, а говорил так, что надо было прислушиваться. Казалось, что он присутствует не здесь, а внутри иной внимательности. Он перемещался как вытянутая потусторонняя тень.

Прошлой осенью он задохнулся.

Наш общий друг сказал, что это не был передоз, скорее его отравили. Последнее время он много ходил с людьми с отеками лица. А один раз ушел на завод как на закат, и сообщил, что не вернется. Вернулся.

Друг сказал, что надо найти отекавших людей и выяснить, что они продали И. в то утро. Мы сидели ночью и думали, что делать. Что мы им скажем? Скажем, что они отравили? Они ответят, что не травил, что продали все как обычно.

Последний раз мы общались, стоя на улице, рядом с домом мамы. Он рассказывал, как нашел тюленя и решил его спасти. Его речь перебивалась тихим хохотом, казалось, что присутствовало две личности, одна спокойно рассказывала о чем-то, а другая хохотала над произносимым. Лицо было черным, глаза становились то выпученными, как от изумления, то устало отсутствующими, как если бы позади собеседника надвигалась и исчезала волна немыслимых размеров. Белые глаза внутри залитых тьмой впадин.

Есть люди, у которых глаза — как окна сгоревшей квартиры.

И. был когда-то лидером пятидесятнической ячейки, проводил беседы по Библии. В той самой секте, откуда в свое время выгнали Э. А выгнали его после забавного случая. В общину приехал известный проповедник, всех выстроили в ряд, он начал подходить и по очереди возлагать руки. Там так было принято, что надо падать. Сзади свои люди ловят, кладут на пол, лежишь в экстазе. А Э. сделал странную форму из пальцев, магический треугольник, и про себя решил, что не упадет. Не упал. Проповедник подошел к руководителю общины и сказал, что вот этого лучше выгнать.

И. считал, что смысл существования человека в производстве музыки.

И. ходил и не останавливался, даже не задерживался взглядом, и подталкивал Э. «не останавливайся, пойдем», куда угодно, только бы не фиксироваться на чем-то. Он постоянно искал сокровища и клады.

В конце 90-го года. На столе оказалась стопка с журналами и газетами. Отчим зачем-то их приносил. Журналы о здоровье, рыбалке, газеты со скучными новостями. Я сел на пол и полистал их, даже не пытаясь найти интересное, а просто механически. В конце одной из газет были объявления. Продам стол, куплю запчасти, продам машину, куплю шкаф. В глубине объявлений, еле заметно, оказалась встроена рубрика «переписка читателей». В основном поздравления с днями рождения и прочими праздниками. И среди них одно объявление. Оно было адресовано человеку со странным именем, наверняка не настоящим, и там была представлена краткая критика каких-то его высказываний. Его обвиняли в невнимательности и недобросовестном изучении текстов. Я быстро нашел другую такую же газету, только недельной давности, открыл страницу с перепиской читателей, нашел там другое послание. Определенно, это была община, обменивающаяся знаками-намеками. Стал ждать, когда неделя закончится, отчим принесет новые газеты, открою страницы с объявлениями и прочту, что там у них происходит.

Смогу ли сейчас восстановить те сообщения?

Babi: «Гадание по пьесам Оскара Уайльда. Ирод Антипа слышит шелест крыльев и видит Луну, охранник Иоанна Крестителя (не в Библии — Иоканаан, но тоже пророк) заколот, у тетрарха предчувствия не очень. Ему нужно что-то понять или вспомнить. Во всем наборе этих персонажей такой памятью обладает лишь Иоанн, он может видеть прошлое, настоящее и будущее, поэтому он пророк. Танец всех покрывал видится как некий ритуал, в ходе которого эту память переносят в Ирода, потому что носителей такой памяти не может быть двое в одном месте, она не может быть в двух местах одновременно. Можно это увидеть и так, что из семи покрывал на память накладывается 7 мешков — на каждом уровне восприятия, но, можно увидеть это и как ее освобождение. Ирод вроде теперь знает то, что мог знать Иоанн. Саломеи возможно вообще не было — во всяком случае, в Библии она нигде не упоминалась, вплоть до Иосифа Флавия, который в своем свидетельстве о смерти Пророка дал ей имя, либо в принципе ввел такой персонаж во плоти. Ага, ну вот потом и приходится спать, заматывая голову покрывалом (это мы о себе сейчас). В пьесе мужеложца Уайльда Саломея влюбляется в заключённого Иоканаана, трижды просит разрешения коснуться его тела, поцеловать его волосы — как бы она временно становится носителем этой памяти, но без ее расшифровки, до того, как она не будет переселена в Ирода (да, тут концепция совпадает с замечанием жены Ленда, что, мол, женщины выступают как промежуточные носители информации). И да, танец тут видится как блуждание по неким лабиринтам, просто со стороны это как танец выглядит. Так снимаются печатипокрывала, либо, напротив, они там навешиваются — кто как видит. Но тут предлагается снова занырнуть в сон, и

посмотреть там получше. сейчас этот ужасный человек скажет, что походу это все уже было, про танцы с покрывалами. поэтому слишком просто.»

Mango: «Предыдущая 60-дневка закончилась 20 мая. Можно посмотреть там. В тот день был знак гуй хай, вода большого моря. Иньская вода на небе, иньская вода на земле. Постепенность. Внизу гора, сверху дерево. Ценность в том, чтобы создавать законы и соблюдать их. Видео там выше, где накуриваю книгу, это прогноз на сегодня. Говорят, объединиться неплохо бы в диком поле.»

IamNotARobot: 22, 22, 22, 22, недописанная сказка.

В четверг заехал в гости старый друг, с которым не виделись несколько лет. Расположились на кухне, стали проговаривать простые и естественные вещи, как обычно, когда долго не видишься, надо расспросить о жизни, об изменениях. А изменений особо нет. Он сказал, что думает о постоянном напряжении, которое было раньше, и пытается отделить его от ностальгии. Спросил его, на что живет. Он ответил, что не думает особо о том, сколько заработать, выполняет работу как должно, а сколько заплатят — лучше не думать. А какая работа? Он не смутился, это явно было не смущение, скорее нежелание раскрываться. Так какая работа? Когда он засмеялся, стало ясно, что у него зубов еще меньше, чем у меня. Зубы закопаны в почву, чтоб прорасти деревьями мудрости, свить себе гнезда и украситься листьями. Или зубы лежат в воде, как

коралловые рифы. Ответил, что работа связана с кладбищем. Мы встречались пару лет назад, и до этого чуть ли не каждый год, и ни слова на эту тему. Оказалось, он уже давно и основательно занимается ритуалами на кладбищах, в основном оmyвает трупы в морге, готовит все необходимое для погребения, знает все детали этого быта. Также он сказал, что читал мои тексты, но не понял их, так как не имел ключей. Где ключи? Где ключи? Он спросил и взгляделся. Где ключи к текстам? Какие ключи? Странно, что ему понадобились ключи, он что, собрался открывать тексты как двери. Там все закодировано? Нет, там не все закодировано. Он начал смотреть так, будто у меня в кармане лежат ключи, я их сейчас выложу на стол, тексты раскроются и из них выскочит театр папы Карло.

На следующее утро, в пятницу, поехал мимо леса, там километров семь. Мама открыла дверь и сразу же протянула два ключа, сказала, что нужно сходить их поменять, на рынке есть ключник, он дал неправильные ключи. У него было много разных ключей, он перепутал, надо вернуть и забрать нужные. Какие нужные? От колясочной. А эти? Эти не подходят, они открывают, но не закрывают. Стало немного не по себе, вспомнил вчерашнюю беседу про ключи от текстов. Ключи должны уметь закрывать, а не только открывать, а сейчас колясочная открыта, могут своровать велосипеды, жители подъезда придут предъявлять. Как так могло случиться, что ключ подошел, открыл дверь, но не может закрыть, и это, видимо, ошибка ключника, он перепутал. Я взял ключи и пошел на рынок, сначала мимо домов, затем вдоль хозяйственных рядов. Сориентировался по звуку, — там работал станок, жужжал и звенел.

[Про тот звук.

Никакие сюжеты не были понятны, никакие истории. Все пластинки представлялись чередованиями приятных ритмичностей и кошмаров. Под приятные ритмичности можно было сидеть и смотреть на ковер или обои, или рисовать что-нибудь. Кошмары — это редкие звучания, которые прогрызали воздух и ввергали в пропасти нездешнего.

Один раз попробовал переставить иглу на пластинке, чтобы пропустить страшное место, но так вышло, что поставил именно на момент мерзкого звука. Отпрыгнул от проигрывателя, словно ударенный током, зажав уши и закрыв глаза. Страшно не только это слышать, но и видеть пространство, в котором происходит звучание.

Что это были за звуки? Недавно постарался разобраться, наткнувшись на разорванную мелодию с наложенными скрипами и отчасти вспомнив, насколько подобное пугало. Знакомые музыканты сказали, что это «крошение» звуковой волны, наложение на саму себя, задерживание и отражение. Расщепленный звук.

Вместе со звуком расщеплялось само существование, а из полученного зазора проникало нечто, находящееся «за ужасом». Отголосок иного мира.]

В какой момент меня накрыли сеткой? Подбежали существа с затекшими лицами и кинули сначала сетку, а затем мешковину, прикрыли с головой, чтобы не вылезал и не смотрел наружу, наверное, из-за заботы, там начиналось неприятное, они решили скрыть от глаз,

колясочная открыта, там воруют велосипеды, у меня нет ключей, чтобы закрыть и остановить весь процесс извлечения, поэтому лучше не видеть, что происходит, и еще одушевленные ласковые звуки шелеста сетки находятся под сверлящим щебетом.

Там, в мешке, виделось больше обычного, отпадали отвлечения. Ключи делаются под крошение звуковой волны. Не видно, ходит ли вокруг ключник, возможно, ходит, показывает, что сделал и объясняет, как использовать.

Гадание направлено на преодоление времени.

Осенним вечером в почти пустом трамвае. Дороги там минут сорок, места спокойные, всегда одинаковые и темные. Темно не только вечером, но и днем, сначала жилые дома, затем старое кладбище с поваленными памятниками, заросшими мхом, на котором уже давно не хоронят, и изогнутая дорога, ведущая к больнице. На заднем сиденье бабушка, копающаяся в сумке, увидела меня, махнула рукой, чтобы подошел, я не сразу поднялся, стал смотреть, а она еще раз подозвала, кивнула головой, мол, надо подойти. Надо, ибо здесь обогащенная жизнь и тусклый свет, черные впадины за окном, как поры в коже, дыры, втягивающие смыслы и события. Может, мы провалимся с ней в эту черноту, пойдем по невидимой дороге в тишине, окажемся на кладбище, она скажет, чтоб сходил за водой, надо полить могилки, а когда вернусь, там, на памятнике, будет изображено животное с многи-

ми головами и руками, она расскажет, что это животное водилось в деревне когда-то, неожиданно появлялось и исчезало, надо укрыть голову покрывалом или одеялом, тогда оно не заметит, оно по волосам воспринимает людей, а зачем его поливать — а поливать его вообще не надо. Подошел. Бабушка беззубо улыбнулась, достала из сумки ножницы, и попросила подстричь ей ногти на ногах, сказала, что заплатит за это, самой не согнуться, не достать. А ногти твердые, надо двумя руками на ножницы давить, чтоб разрезать. Хотя часть ногтей тогда, самые жесткие не надо, пусть сами сломаются, когда отрастут. Те, что помягче, можно остричь, а остальные — сил не хватает, они застыли за годы как камни, как за-твердевшие породы.

За окнами темная природа сжалась и зашептала — мирно и молитвенно, из внешней гущи в наше слышимое. Если стричь ногти, надо и омыwać ноги, опухшие от жизни, от них запах старости; где старость, там иная чувствительность, и в ее глазах здесь много людей, они повсюду стоят и смотрят на мою растерянность. Когда доедем, будет уже совсем ночь, или день, но без солнца, крошечный день внутри ночи, проглоченный.

Шепот перешел в гул и стал виден, как видны сильные звуки. Крик птицы можно нарисовать в виде дерева или трещины в воздухе, и чем ярче крик, тем глубже расходятся швы. Можно размягчить твердые ногти, распарить в тазике или ведре, если кипятки и ноги терпят, то быстро. И то животное с головами и руками — вполне может быть рисунком странного звучания, появлявшегося и исчезавшего в деревне. Когда за завалом начинало шуметь

и звенеть, так почва лопалась или пели змеи. И в гуле огонь, негаснувший и теплый, в окнах отражения, поры залиты, можно плескаться.

Сказал, что готов покрыть голову и пойти поливать, чтобы земля пропиталась влагой. Кто польет, если не мы. Не дождя же ждать. И неважно, находимся ли внутри трамвая или комнаты, облепленной окнами, к которой прижаты лицами неизвестные подглядывающие люди. Смотрят они на нас или не смотрят. Сейчас выйдем и побредем по тропикам, найдем колонку, наберем воды, польем, погрустим. Польем воду на ноги.

Тени смыкались словно ладони гигантского существа. Внутренний свет уходил-приходил, приглаживая видимую природу, проглядывая сквозь черные как смола ветви. Такие места отброшены на самый край, на периферию происходящего-чувственного, они густы и безмолвны. Они настолько страшны, что уже не пугают, в них не может возникнуть скользящего призрака или крика, все поглощено плотным существованием. И тени, ветви, свет, воздух — все одно, слипшееся в едином сумраке себя. И в этом нет ничего оккультного, ничего секретного. Там нечего скоблить, подмечать, искать, вскрывать. Если приходишь, вваливаешься внутрь и засыпаешь, без видений и идей. Ночь усталой еле содрогающейся лесной души, погребенной под застывшей почвой. Тропинки похожи на нити клубка, залитого клеем, их не расцепить и не отделить друг от друга. Даже неважно, сколь красочно или безысходно их описывать, все равно не разглядеть и не разгадать, они как вывернутые морщины скомканных от старости лиц.

Уже непонятно, где они стоят: за окнами или внутри, и сколько их, и движемся ли мы или нет. Нужно полить воду на ноги всем. Так правильно. Чтобы не различать.

Понял по запаху, что в комнате находится Н., хотя его и не было видно. Мог пройти сквозь это место, рядом со стеной, Н. был не телесный.

Итак, грязная комната и чистая комната, 2:43 и белый шум, утро мира.

Совсем маленьким я ходил по улице с прутом, втыкая его в асфальт и толкая перед собой, чтобы он слегка подскакивал и двигался, как попрыгунчик. Называл этот прут «дружком». Помню хорошо, что мыслил его не только как друга, но и как посредника, касающегося земли. Через друга я общался со всей сложностью земли, с трещинами, извилинами, рваностями.

Это пример выставления в мир иной телесности.

В сознание белого шума, в утро мира также выносятся иная телесность, чтобы полноценно соприкасаться, скользить по вязущим маршрутам, мельтешащим нитям.

Среди мельтешений и шумов также есть предшественники, но не темные, а утренние. Играющие коды, способные сложиться во что-угодно. Они предшественники, но не

наши, и это «что-угодно» — не мы, не наша воля. Утром мы были как мы, как цельности, а не как копошения, свечения и вспышки. Как темный предшественник работает с пространством будущего ужаса, так утренний предшественник работает с пространством прошлого покоя.

Разложение мира на код — не более, чем невращения, выращивание иных телесностей там, где их быть не может.

Игра в код — возможность занять человека пустым и без-опасным, возможность отвлечь его от ужаса.

Плотское познание и наслаждение позволяет отдыхать от ужасающих ощущений данности. Так и манипуляции пустотами. Это позволяет выждать, отвлечься от вглядывания, от сущностного общения, от песен ужаса. Как производство пустых конвертов в колониях. Неважно, какими письмами они наполнятся в будущем, наполнение — проблема другого мира. Перемещая пустотные глыбы, ты занят и поглощен. Даже мыслишь ценность и важность происходящего.

Ветер в квартире завопил как подбитое нездешнее существо. Тоскливо и безысходно. И разницы никакой нет, я в квартире или на улице, небо бирюзовое с оранжевыми огнями, небо наслаждения, когда в таком находишься, возникает чувство нежности. Да и не столь тоскливо, если вглядываться в эту бирюзовую густоту. И не так уж безыс-



ходно, если не вслушиваться в ветер, а смотреть в небо. Да хорошо. Нельзя на такое жаловаться. Я лежу у стены, бабушка спрашивает, почему квартира стала такого цвета, я ли это делаю, говорю, что такое освещение делается само по себе, свет приходит извне и просачивается изнутри, и его не различишь. Разделение света, тем более зеленоватого отблеска, на внешний и внутренний, не выделяется во внимательности, нельзя присмотреться и решить.

Бабушку это и смущало, когда она спрашивала, я не сразу понял, что она вовсе не спрашивает, а просто говорит, не ожидая ответа.

На стенах иконы, с разных сторон, вокруг кресты, мы в небесной церкви. Скоро вдалеке псаломщики начнут нараспев читать часы, наступит служба, дым от ладана пошевелит видимую красоту. В церкви как во сне, все плавно, текуче. Возможно, кто-то смотрит сон о том, что там происходит. Или о нас. Может ли эта плавность, эти действия, наступить, или мы проматываем сейчас внутреннюю пленку. Есть ли момент времени, когда эта служба не идет, или она идет всегда, и ее нужно лишь заметить? Говорю бабушке, что в небесной церкви я алтарник, хожу в облачениях, подаю кадило, выношу свечи, читаю записочки на проскомидии, она просит вслух прочесть молитвы, я встаю, перекрещиваюсь и читаю начальные молитвы с поклонами. Становится ясно, что цвет, в который окрасилась комната, приходит из иконы в углу, там все бирюзовое. Вспоминаю, как мне было лет семь, я стоял у церковной лавки, в толпе бабулек, смотрел на эту икону, и затем сказал, что нужно купить именно ее. Теперь мы

проживаем ритуал, заполненный самим существованием, не пустой, а цельный и живой, вбирающий наше сокровенное. И здесь не ложная телесность вместо меня, а «я», как был всегда, «я» могу быть лишь внутри ритуала, а вне ритуала меня поглотит время, оставив взамен тенистый отпечаток, заваленный глупыми страхами. Там, снаружи, мне зададут вопрос о священном и несвященном и я не смогу на него ответить, а внутри не зададут, а если бы и задали, здесь все просто. Несвященное отсюда не видно. Бабушка спросила, стану ли я священником в той небесной церкви. Во мне слишком мало смирения и много странности. Может быть, однажды некий епископ заблудится в лесу, а я ему помогу найти дорогу, или на него нападут разбойники, как в бременских музыкантах, а я освобожу, он спросит, что и как, и я скажу, что мечтаю всю жизнь стать священником. Но такое вряд ли случится. Если только братву попросить, как трубадур и сделал. Его привяжут к дереву, как короля, а я пойду типа мимо с песней «куда ты тропинка меня завела». Да все равно, блюстители церковного порядка посмотрят и скажут епископу, что он привел оккультиста, и нет ему доверия, он порой видит себя кладбищенской птицей. Ты привел колдуна, короче. Он не оккультист и освободил меня от разбойников. Ну и что? Может он сам и нанял этих разбойников, чтоб войти в доверие. Ну да, может быть. Хотя, возможно, там все по-другому. Вместо епископов тихие перемещения. Служить я буду в... там запутанное пространство и ходы, притвор, как нарисованный, можно заблудиться, прихожане говорят, что каждый раз он разный, как идти? Царские врата как ограждение тайного, выйдя к которым можно посмотреть на запад, в поисках забытых чувств. Забытые чувства приходят с запада как

тени. Но там же есть изображение страшного суда, и там же ожидание тихой скорби. Из псалмов строится пространство будущего и прошлого действия. Как утренний предшественник, псалмы задают ряды и оградки, вдоль которых все будут ходить. Кадить буду с поклонами, по биению сердца. Хор сложится из залетевших ангелов, они будут петь и смотреть. Бабушка сказала, что однажды видела ангелочка, у него были крылья. Да, крылья — не чистая образность, ангелов с птицами что-то роднит, и в евхаристическом каноне упоминаются пернатые не просто так. Встретимся с ними в небесной церкви, послужим вместе, встретимся со всеми.

По вечерам меня часто знобит, трясет внутренним холодом. Днем забываю про это, а когда темнеет, прислушиваюсь к своему телу и слышу, что оно мерзнет. Этот озноб придерживает общее недоверие. В детстве в такие моменты садился в ванну, включал горячую воду и прижимался к себе, как эмбрион. Ванна наполнялась, а я так и сидел, боясь распрямиться. Когда распрямлялся, тело обжигало. Сидел и трясся от горящего всего. Тоже получался озноб, но другой, выталкивающий внутренний холод. Похоже делал со страхами, связывал себя в движениях, чтобы застыть, и чтобы страх застыл вместе с телом. Или, когда комната наполнялась присутствием, замирал в ощущениях, будто вокруг бродят дикие собаки или змеи, выискивают подвижное, а меня могут не заметить. Спросил один раз дедушку, а что, если на войне, когда наступают враги, притвориться мертвым, лежать и не дышать. Дедушка ответил, что они расстреливают всех, на всякий случай. Идут в кожаных куртках с собаками и стреляют по земле из автоматов. На всякий случай.

В марте границы мира закрылись из-за эпидемии. Воздух стал вязким и напуганным.

В 96-м мы поехали за болота, чтобы три дня не есть и не спать. Взяли магнитофон и запасные батарейки, и протанцевали первую ночь на холме. А затем глаза стали слипаться, животы сжиматься. Мы добежали до электрички, поехали в сторону дома. Там, где болота и долгий лес. И он горел. Хрустел и светился.

Когда вышли на нашей станции, пошли по улице, увидели пожарников. Я подошел и спросил «вы пожарные?», они ответили: «нет, мы пожарные». Там пожар. Мы знаем. Там лес горит. Мы знаем. Запах даже здесь. Мы знаем. Наверное, вы туда сейчас собираетесь? Да. В лес. В лес. В самый огонь. Наверное, не тушить, а наслаждаться. Дышать горящими деревьями. Это было у бетонной стены, пожарники стояли и не собирались никуда ехать, видимо, боялись, что лес их не выпустит, или копили силы, или предвкушали.

Теплый вечер и запах тлеющего леса — с тех пор, как появлялось похожее, мысленно возвращался к тому моменту. Если тот лес придет за нами... дальше камера должна подняться, полететь и показать, как мы стоим у бетонной стены, а рядом горит лес, и этот лес гораздо больше наших окрестностей, он тотален, не заканчивается, разъедает дальнейшее существование, светится, мерцает, поглощает. Или не мы стоим, а люди вообще, а лес превращается в красное море, как жуткая, медленная, пол-

зущая воля. Когда разливаешь воду на столе, она лениво покрывает собой поверхность, иногда собираясь в гладкие сгустки.

Это медленное поглощение неспособно коснуться нас, где бы мы ни стояли, наше существование проходит сквозь, и неважно, насколько близко подбирается шипящий вечерний лес, и как плотно заливает наши тела. Мы и пожарные, и не пожарные. И поедем воевать со стихией, и не поедем, останемся стоять и ждать. Это наш дар: быть везде, помнить и забывать, себя в том числе, и осознавать существование, раскрашенное во все мыслимые цвета, уходить в лес и возвращаться, совершать круговые движения, ждать. А еще наша тайна в том, что мы мыслим ритуал. Лес внутри коридора, внутри комнаты, внутри вообще, возвращающийся лес. Не лес проглотил нас, а мы его, наша воля оказалась слишком свободной, чтобы стать поглощенной, и превзошла все ожидания, даже наши.

Если надавить на глаза, появятся световые паутины — это и есть память. В узлах — не события, а возможности. Внутри памяти нет событий, есть возможности возвращения. События подцеплены как метки, они там не образуют ничего решающего. Через эту паутину можно видеть память будущего, опять же, без событий, события не так важны, ее можно видеть через возможности возвращаться в те ощущения, которые еще не проявлены. Эта паутина кладется на стол, как связка ключей, и судится, пока человек стоит и смотрит со стороны. Судятся клубки возможностей, замотанные и выгоревшие темные предшественники, комки нитей, покрытые забвением как пылью.

Мы стоим с пожарниками у бетонной стены. Думаю, предложить ли им провести ритуал. Или стоит всем вместе сейчас отправиться в лес. Благодарен им, что не прогоняют, позволяют постоять рядом с собой и поговорить о лесе. И воспринять себя тоже как пожарника. Что будем делать? Когда выезжаем? Наши новые приключения внутри горящего лесного коридора, внутри едкого черного дыма. Поедем спасать животных: зайцев, оленей. Поедем слушать, как хрустят ветки. Поедем греться. Я покажу дорогу, только что оттуда, ехал в электричке и удивлялся, как изображение за окном может быть таким насыщенным и ярким. Перед нами сейчас невероятный простор возможностей, гигантский стол, уходящий в бесконечность, накрытый возможностями. Вечерний пир. Чудесная трапеза. Я вас запомню и буду думать о вас. Пойдем в церковь? Прямо сейчас. Там уже прочитали псалмы 83-84-85, будет еще много интересного. Скоро все погрузится в тишину. Мы можем быть и здесь, и там, и у бетонной стены, и в церкви. Когда лес приблизится, появится возможность соскользнуть по его границе, как по границе сжигаемого мира.

Октябрь 89-го, стою около кинотеатра, подходит взволнованный человек, старше меня лет на пять, говорит, что надо поговорить, ничего ему не отвечаю. Говорит, что он коллекционер, спрашивает, есть ли у меня дома монеты или медали. Сходи, посмотри, может у деда есть медали, я куплю, нормально заплачу. Какие медали? Да любые, серебряные, золотые, сходи, посмотри, может в секции

спрятаны или на стенке висят, приноси все, что есть. Хорошо, схожу, посмотрю. Иду, оглядываясь. А он показывает видом, что все под контролем, будет стоять и ждать там. Кажется, он болен и медали-монеты нужны ему для лечения, как таблетки. Они его окончательно придавят, он нацепит на себя все медали, что купит у встречающих людей, они его притянут к земле. Прихожу к Д., рассказываю ему о человеке, он говорит «веди его сюда, скажи, что здесь миллионы медалей». Возвращаюсь к кинотеатру, говорю: там, за углом, около дома, миллионы медалей, надо идти туда прямо сейчас, их можно собирать как ягоды. Представляю, что сейчас случилась весна, не октябрь, а май, появились одуванчики, на каждом желтом цветке лежит монета, этот человек ползает по поляне и ест эти цветы. Он отвечает, что я чокнутый и кричит, чтоб шел отсюда.

[23 июля 2011.] Тут рядом железная дорога. Сегодня на рельсах сидела молодая пара. Девушка грустила, а парень гладил ее по волосам. Он подносил ей к носу цветок и засовывал в рот печенье. И улыбался при этом. Очень чувственно. На рельсах. Есть тут еще одна странная девушка. Сегодня увидел ее в магазине. Она сидела на стуле в обнимку с мягким медвежонком и смотрела в воздух. Просто в воздух, просто в никуда. Дело в том, что позавчера я тоже был в магазине и тоже видел ее в таком же положении, на том же месте.

Трехэтажный дом, я на первом этаже. Большое помещение с нестандартной мебелью. Мебель как нарисованная,

она не для того, чтобы ее использовать, скорее присутствует как декоративный фрагмент общего ощущения. Ко мне приходит друг, я ему объясняю, что лучше побыть в коридоре, не стоит заходить в комнату. А на второй и третий этаж вообще не стоит заходить — там страшно. Оттуда приходят двое, спускаются по лестнице и подходят к нам. Лысый коренастый человек и старик, шепчущийся с собой. Они зовут пойти наверх, на третий этаж, объясняют, что скоро начнется важное. Что-то вроде сбрасывания потолка и раскрытия неба. Пойдем с нами. Там и сейчас страшно, но именно в том месте все и начнется, а если здесь сидеть, можно все пропустить. Мы поднимаемся, начинает казаться, что я не выдержу это проявление, оно слишком глобально, захватит и поглотит. С другой стороны, не хочется пропустить событие — ведь намечается нечто удивительное. Лысому и шептуну нечего терять, они живут в надежде, что потолок снимется и их втянет небо. А у меня сомнения, ведь это совершенно необратимо. А ведь мы еще не построили церковь. И почему они пришли и позвали с собой, я им никто, зачем со мной делиться сокровенным?

Мы подъехали, остановились, дядя Коля погасил фары. Исчез звук мотора, сопровождавший нас последние пару часов. Наступила чистая тишина, звенящая от соприкосновения с собой. Впереди красный коридор. Откуда он подсвечивался — непонятно. Мы молча сидели в машине и смотрели — похоже на театральный свет, создаваемый с помощью фильтров. Только без источника, свет равно-

мерно растерт в самом воздухе. Людей не видно, никого не видно. Как будто ладони сложены лодочками, прижаты друг к другу, чтобы был зазор, и внутри ладоней горит необжигающий огонь, а вокруг крошечная тьма. Мы приехали. Это и есть рынок. А где продавцы? Надо взглядеться? Пойдем туда? Пойдем.

Внутри этой красной протяжности может быть что-угодно, нужна смелость, чтобы выйти из машины, пройти сквозь черноту, встать на пороге. С другой стороны, чего бояться. Эта краснота — как пульсирующее сердце внутри спящего черного тела, внутри тотального мрака. И ты не подойдешь туда, а вольешься по невидимой крови, будешь смотреть и удивляться, как ярко сияет содрогающийся коридор. Лестница, этажи, двери с ободранной обивкой, мутные окошки. Зарево без следов солнца, возникшее из своей воли.

Сознание пульсирует вместе с окутавшим телом, в мгновение кажется, что все ясно, четко, осознаваемо — и сразу же это сбрасывается, размывается всякое понимание. Не успеваешь зацепиться за образы, ощущения, рядом стоит гигантский метроном и отсчитывает грани «здесь» и «нездесь». Не рядом, а внутри всей допустимости. Не успеваешь даже осмыслить, как коридор превратился в лестницу, это кажется очевидным, а затем исчезает, а когда появляется снова, нужно осмыслять заново.

Где здесь продавцы вообще? Где магические птицы, которыми они торгуют? Птицы, исцеляющие от разных болезней. Как здесь пройти среди рядов, выбрать товар, сказать «мне вон ту птицу»? Что посоветуете от головных болей? Как в аптеке. Протянут дрожащий перистый

комков, скажут, куда прикладывать, как с ним шептаться. Или птицу для гадания, чтобы увидеть, что будет через час. Какой будет обстановка, события, свершится ли ожидаемое? Как гадать на ожидания? Вглядываться в их глазах, обнаруживать покой или ужас. А никого нет. Лишь пульсирующая данность, лестничные клетки как клетки тела, окна как поры, какая приятная теплая ночь. Мы вышли и пошли к рынку, с мягкому свету.

Иногда кажется, что у дяди Коли нет половины головы, он проваливается куда-то.

Зашли. Показалось, что ничего не изменилось, и нет никакого красного света, вокруг обычное освещение, только непонятно, откуда оно исходит, действительно, воздух светится сам по себе.

Точно, никого. Может, мы и есть продавцы?

Мы можем охватить воздух, взять в охапку кучку ангелов, принести в свою церковь и поселить над алтарем. За этим сюда и приходят. Если кто-то строит церковь, приезжает в одну из ночей, ловит ангелов как стрекоз, везет, выпускает. Они не разлетаются, а с умилением смотрят на намерение человека. Начинают проводить службы.

Уже спал. Разбудил телефонный звонок. Это был С.А. Он попросил прямо сейчас прийти домой к Е., сказал, что не знает, что делать. Оделся, вышел в ночи. Ночь холодная

и приятная, с застывшим светящимся небом и мягким воздухом. Зашел в дом. Е. стоял посередине комнаты и кричал, С.А. и Н.Г. испуганно смотрели. Е. увидел меня, подошел, сказал, что они не понимают, в чем дело, надо включить другую музыку, а то, что сейчас играет — не музыка, а дерьмо. Говорил и кричал он по-русски, они стояли и ничего не понимали. Я им перевел, что в данную минуту проблема в звуках, это не та музыка, нужно ее заменить. С.А. подошел к радио, начал что-то крутить, смотреть на реакцию Е., но все звучащее его не устраивало, он продолжал говорить, что это не музыка. Затем сам нашел диск с песней, поставил. Какая-то русская песня. С.А. и Н.Г. поддерживающе покивали, хотя явно им было все равно, что звучит. Е. заорал «мы сейчас будем варить винт». С.А. попросил перевести, я ответил, что это метафора, перевести не так просто. Он мечется, потому что не может найти нужную музыку. По словам С.А., они только что вернулись из городского ресторана, Е. устроил там перформанс, и он не знает, что делать. Пока мы общались в коридоре, Е. выскочил на улицу, сел в машину, сказал, что нам надо ехать. Мы сели с ним, но, ясное дело, никуда не поехали. Включили музыку внутри машины на полную громкость и замолчали. Сидели молча и слушали песню за песней. Мне казалось, что проживается какая-то чудесная осень, и все видимое пространство сидит вместе с нами и покачивается в ритм звучащих песен. Сказал С.А. и Н.Г., что они могут спокойно идти, ничего страшного не происходит. Они ушли, мы зашли с Е. в его дом, он лег на диван и уснул. На следующий день встретились с Н.Г., он спросил, относится ли происходящее с Е. к русскому мистическому. Скорее да. Е. рассказал ему про демона, с которым сражается — кто это? Да никто.

В тот момент в подъезде у окна. Здесь был проведен ритуал. Если взглядеться в окна дома напротив, можно заметить, что никого нет, никто не выходит на балкон, никто не прохаживается по своей квартире. Мы находимся в выделенной реальности. У нас есть возможность провести этот ритуал прямо сейчас. Мы здесь не первые. До нас здесь были люди, те самые утренние предшественники, они смотрели на двор и размышляли о проводимых ритуалах. После нас тоже появятся люди с теми же вопросами. И если взглядеться еще раз, более внимательно, можно разглядеть себя, стоящих так же, будто там, на доме напротив, поставлено зеркало. Это не дом напротив, а отражение того же самого дома, в котором стоим сейчас. Вот мы — мелкие, еле различимые, стоим и разглядываем себя. Кажется, туда можно перескочить прямо сейчас. Тот дом станет реальным, а этот отраженным. В момент, когда допускаю это в мыслях, сразу же оказываюсь там и узнаю вообще все. Конечно же, мы именно в этом подъезде, и всегда здесь стояли, смотрели на двор, Н. задавал вопросы, здесь знакомы все детали, удивительно, как мог сразу это не распознать. Перемещение через узнавание. Как это соотносится с вопросом 53 из «Суммы теологии»? Как в памяти ты переносишься мгновенно в нужное место-время, не проходя при этом промежутков, так и там. Есть места узнавания, и в них возможно перемещение, но в привычном состоянии это не получается сделать из-за тяжести восприятия. Воспоминания кажутся слишком блеклыми по сравнению с реальностью перед глазами. Когда же память пробуждается и начинает пульсировать, сменяются возможности. Или когда тело памяти пре-

дельно расшатывается. Подобные перемещения во снах не вызывают вопросов. А в фиксируемой реальности кажутся невозможными.

[4 февраля.] Беседа. В послании Иуды есть обреченные слова о тех, кто отвергает начальства и злословит высшие власти. Фиофилакт Болгарский объясняет это так: это о тех, кто вместо ангельских таинств совершают свои скверны. Когда апостолы говорят о началах и властях, чаще всего это означает ангельские чины. Но это же послание к народу, они чувствовали, что ангельские миры раскроются? Да, вполне может быть. По-крайней мере, понимается тесная связь с миром ангелов и некоторое понимание их таинств.

[5 февраля.] Выпал снег, похожий на пух. Голуби приземляются и делают в снежных покрытиях дыры.

[7 февраля.] Узнал, что Ульф Экман, тот самый лидер харизматов, чьи книги читал в 13 лет, перешел в католицизм.

[8 февраля.] Увидел во сне кладбищенскую церковь, в которой шло некое мероприятие, посвященное А.А. Меня не хотели на него пускать, смотрели по спискам. На входе стояла девушка и мотала головой, типа меня в списках нет, к сожалению, не может пустить. Сказал ей, чтобы спросила у А.А., он явно захочет, чтобы я прошел. Тут появился А.А. и объяснил, что меня надо пропустить.

Прошли в некое помещение. А.А. начал представлять тех, кто сидит за столом. Заметил, что помимо гостей, за столами сидят люди с грязными лицами, женщины в основном, похожие на плакальщиц, но по виду и движениям не как люди, а как духи. Одеты они были в черные пальто, головы покрытые, слегка наклонены в бока, лица заплаканные и неестественно вытянутые. Мне захотелось уйти, было в этих полулюдях нечто жуткое, не резко пугающее, а сдавливающее, как медленный страх, вышел, оказался у кладбищенского входа. Стоял и осознавал, что большое здание находится сзади, а я ухожу оттуда. Проснулся среди ночи, стал вспоминать этих полулюдей. Неким ритмом они напоминали пересыльных или ожидающих поезд, тех, кто мается на вокзале.

[9 февраля.] Некий человек мне гадал. Он попросил взять лист бумаги и нарисовать линию. Оказалось, что было неважно, какую линию, он смотрел лишь на ее длину и через нее выводил волю к проявлению. Чем длиннее, тем ярче действует воля. Днем были на заброшенном заводе с внутренними лабиринтами, ходили по разрушенным лестницам. В одном из проходов встретили большую спокойную собаку — она удивленно посмотрела на нас, как бы спрашивая, зачем мы там ходим. Гигантский разветвленный опустошенный мир. Он разветвился до опустошения, сейчас он застыл. Говорят, с ним ничего не поделать, никто не может его взорвать — это дорого и запрещено какими-то законами, также его нечем заполнить, он остается быть в себе, как память.

[12 февраля.] Беседовал по телефону. Не сразу понял, что разговариваю с демоном. Он жевал смыслы. Через час

разговора меня затошнило, голову сдавило с боков. После разговора выпил обезболивающее, вышел на улицу, стал глубоко дышать зимним воздухом. Мне было очень плохо. Позвонил о. М., рассказал ему, что случилось.

[24 февраля.] Видел во сне Иерусалим. Небо. Приехал на автобусе к пункту обмена валют. Оказалось, что там вместо денег — обручи разных размеров, и хранятся они в банках в специальных колбах, похожих на вертикальные дыни.

[25 февраля.] Видел во сне В.В. Снова было понятно, что никто больше его не видит. Он стоял около стола на улице, смотрел вперед. Я подошел и в наигранном отчаянии начал ему предъявлять, что в нужный момент он меня не поддержал.

[27 февраля.] Удивительное посещение парикмахерской. Стриг меня худой усталый парень. Рядом оказалась парикмахерша с другим клиентом. Этот усталый парень начал с ней ругаться. Где лампа? Какая лампа? Здесь была лампа. Она не работала. Работала. Не работала. Ты сломал лампу? Я до нее не дотрагивался. Он объяснял, что покрасил пространство в красивый цвет, а она кричала на него, что он все испортил. Они стали орать друг на друга, чуть ли не кидаться ножницами. Ушла со своим клиентом в другую комнату, а он мне рассказал, что не различает цвета, но различает формы головы и ушей и смотрит на людей через голову-уши в плане опасности, может оценить, кто на него нападет, а кто нет, еще его интересует оружие и драки, но не с точки зрения агрессии, а с точки зрения обороны, его часто бьют. Еще он рассказал про

парикмахершу, что она меняет тела, и про некоего «любимого мальчика своей мамы», который угрожает ему расправой, и еще про гамму восьми цветов — он их не различает, но все равно с ними работает. Самый плохой цвет — фиолетовый, а самый лучший — светло-бежевый. Спросил, нужны ли мне узоры на голове. Не нужны. Теперь ясно, куда буду ходить стричься.

Ночью за окном раздался необычный грохот. Кто-то ехал по асфальту на роликовых коньках, только это звучало громче обычного, и усиливалось, словно дорога проходила прямо в окно, этот кто-то приближался, да более того, такое возможно, если я лежу ухом прижатым к земле. И долго, столько, что можно было обдумать и приготовиться. Сейчас в окно въедет гигантский человек, дорога проложена до четвертого этажа. С улицы прямо ко мне в квартиру: некто на роликах, улыбающийся, торжественный.

[13 марта.] Проснулся, но остался лежать с закрытыми глазами, на спине. Внутри видимого появился небольшой дрожащий экран, как от пленочного проектора. И на этом экране возник рисованный мультфильм. Сначала бежала собака. Собака, скамейка, их перемещение. Дискретно, не гладко, будто пролистывается тетрадь с рисунками, но последовательно. Затем появилась яркая пчела. Естественно, это не был сон, я внимательно наблюдал за деталями и готовился все это записать. Разглядывал, удивляясь четкости и необычности, и не понимая, что происходит. Это были не хаотичные мельтешения, а очень четкие формы, цветные, понятные. Затем начал опускаться занавес, этот экран остался дрожать, но его

заслонила ширма. Не понимаю, как дать этому оценку, и стоит ли это делать. Похоже на действие сильного галлюциногена. Весь день был под впечатлением, закрывал глаза, пытаюсь снова разглядеть нечто похожее, но ничего не появлялось. Раньше бы попробовал растолковать увиденные символы, а теперь не думаю, что у этого есть какой-либо символический смысл, а может и смысл вообще.

Когда отпечатываются подушечки пальцев, возникают круглые линии, как климатические карты. И много, словно тысячи пальцев поставили отпечатки, и изогнутости соединились между собой в единый волнистый поток. Витиеватые нити, обернувшиеся около себя мелкими клубками, зоны разорения. Это колышется как общая плотная данность, кружевная мишура, как вихри или ветви гигантского дымного дерева, расслоенного и проникшего в самого себя.

Государство — это психический каркас, вырабатывающий законы как намотки, как целлофановые пленки для теплиц, в которых прорастает мышление. Государство — это мельтешащий свет и повторы, дрожащий и расслаивающийся как занавеска воздух.

Закон выстраивается из страха, ткется подобно ткани, покрывалу. Если смотришь туда, то страшно, а туда — не страшно, таков закон. Закон покрывает очертания тела, ограничивает, указывая на зоны ужаса. Таков закон, и

он проявлен через леденящее предчувствие. Закон — не просто привычка природы типа притягивать и куда-то лететь, а сущая дрожь, натяжение мелких частей, связка, изоляционная лента, перематывающая все доступное пространство.

Под зиму кладбище застывает, покрываясь белой пенкой. Оно словно уходит под землю еще глубже, в свой сон, гробы неподвижно зажимаются холодной землей, а тела в них — уже не тела, а осколки памяти.

Жить так, чтобы не умереть зимой. Потому как родным будет тяжело везти тело на телеге, проталкивать, раскапывать окаменелую землю.

В селах, малых городах, там, где один священник, у этого священника есть странная власть. Если кто из местных ушел, именно он будет отпевать. И даже если усопший не любил этого священника, и шептал перед уходом, чтобы позвали другого, никто напрягаться и искать этого другого не станет. Придет на кладбище, покадит. Это его кладбище, его власть провожать людей округи.

[9 декабря.] Приснилось, что сбежал с собственных похорон. Там была железная дорога, должен был прийти поезд с людьми, которые пойдут на кладбище. Поезд пришел, а я опередил идущих и побежал направо, через лес. Вскоре оказался наверху, а после провалился, прыгая по крышам, в чью-то квартиру. Нашел дверь и вышел в не-

знакомые улицы, проматывая в памяти произошедшее.

[11 декабря.] Ехал на электричке с кошкой. Уснул в дороге. Вошли контролеры, кошка испугалась и забралась на окно, попытаясь сбежать от них. Показал им билет, опасаясь, что проспал нужную остановку и что они начнут что-то предъявлять. Они взяли, посмотрели, поулыбались и сказали, что билет недействителен, но все нормально, не надо волноваться. Посмотрел за окно электрички. Ничего не проехал. Это река за кладбищем.

[23 декабря.] Ночью призрак старой женщины подлетел и начал дергать за руку. Я встал и пошел в церковь. Этой же ночью уже был рядом с церковью, шел в темноте и смотрел на окна, представляя, что под утро окажусь там и посмотрю в окно, только с другой стороны, и увижу себя, идущего по дороге. Стоял, смотрел в окно и вспоминал себя. Шел по дороге, смотрел на окно и вспоминал себя.

Классификаторы типов жертвоприношений выделяют жертвы-дары, жертвы — космогонические перформансы, жертвы-словари. Есть еще жертвы-почтальоны. Жертва отправляется в иной мир с посланием.

Есть светлые и темные почтальоны, передающие впечатление о мире, откуда прибыли. Светлые объясняют, что ходить туда не стоит, так как там некому мстить. К примеру, животное перед убиением откармливают, веселят, чтобы оно рассказало своим сородичам, как добры люди.

Люди веселы и чисты душой, они поют песни, танцуют танцы, устраивают ярмарки и карусели, не надо на них нападать. И духам болезней передайте также чтоб не тревожили.

Темные почтальоны после ритуального заклания приходят в мир, где их ждут, и передают послания-пожелания, объясняют, насколько страшна и сурова реальность, откуда они прибыли, и ходить туда не стоит из страха. Люди сильны и ужасны, не стоит к ним соваться без надобности, а когда вы им понадобитесь, они сами позовут.

Черные дыры внутри бреда. Они всасывают мышление.

Иногда люди просыпаются от ужаса иного присутствия, дергаются напряженными телами, рассматривая темноту без стен, а затем успокаиваются, ведь ничего не видно, а если ничего не видно, можно не волноваться, в тебя не проникнет Ничто, не начнет нашептывать всякий тихий бред как прошлым летом, теперь другое время, теперь все бездны разжижены как водянистые поля, и если в ночи слышится стон, то он либо от удовольствия, либо от болезни, а никак не от кошмара.

[5 октября.] Спал одиннадцать часов, видел во сне рисунок — источник жути. Был период понимания, что жуть исходит от него, я сидел в комнате и разбирался с пространством, пытался понять, откуда приходят страхи. Мест было несколько, но самое жаркое — рисунок. На

рисунке — некая сущность из кругов, связанных как букет. Кругов восемь. Как головы. Поставил этот рисунок на полку — он был в тетради или книге. Пришли люди, я не стал им рассказывать, что происходит, смотрел за ними, распознают ли они, что в рисунке что-то не так. Никто не распознал, они мило общались о быте. Я молча наблюдал за ними и поглядывал в сторону полки. Затем из поезда увидел дом, из которого за мной присматривают. Разглядывал его, и в один момент понял, что они знают, что я разглядываю. Поезд тронулся, я побежал по вагонам, чувствуя, что сзади тоже бегут. Не было сидений, перегородок, только окна и двери. Выскочил на ходу из двери и полетел по красивому небу, по нежному зареву — легко и свободно.

[6 октября.] Видел человека, который склеивал пальцы тем, кто на него смотрит. Пальцы на руке заливались невидимой вязкой жидкостью, после чего не могли двигаться. Пока на него смотрел, мои пальцы тоже склеились.

[11 октября.] Видел подвал старого дома, бежал по нему, даже не бежал, а летел. Не как крыса, а как некая бестелесная сущность. Были знакомые места, повороты, зоны. Движение по контуру, по волосам, обрамление, будто это не внешний подвал, а чья-то внутренность. Затем действие слилось с познанием. Настолько естественно, что стало неприятно от данности. Да, именно так и происходит познание. В таких ритмах и забегах «за». Естественность была настолько сильна, что растворяла любую тревогу. Не было страха, что «за» увидится незнакомым и пугающим. Этот подвал уже давно пройден и понятен,

во всех деталях, во всех возможностях, а происходит не движение, а его ритуальный след. Неприятно было от понимания всего устройства. Так и происходит познание. Возвращение, но не вечное. Вся сложность заложена в лабиринте, по которому движешься, а остальное до тошноты просто, даже очевидно. Очевидность происходящего — одна из дыр бреда.

[11 января.] Видел сон, как мы с бабушкой стояли около старого дома и смотрели в свою квартиру. В окне была видна комната в деталях, обои, полы, шкаф, банки в шкафу. В таких снах происходит выворачивание видимого наизнанку, в котором скрытое становится не просто открытым, но даже выпуклым, выставляется наружу, чтоб его заметили. Может, это не сны, а линзы, задающие режимы зрения, изогнутые зеркала, искаженные стекла, и иногда я подношу их к лицу, вижу вывернутые квартиры.

[12 января.] После пробуждения, оставшись с закрытыми глазами, снова увидел пленку с «белым шумом», она проматывалась вниз, и шум походил на выпарапанные иероглифы, сменяющие друг друга. Можно было вглядываться, рассматривать разнообразные детали. Снова не могу сказать, сколько это продолжалось — там совсем иное ощущение времени.

А. рассказал, как вез свою бабушку сзади на мотоцикле. Они резко разогнались, бабушка упала в горячее озеро. Он ее поднял за ноги, изо рта полилась вода.

[23 января.] Видел сон, в котором происходило некое шоу, во время которого меня должны были повесить на

виселице на городской площади. Публичная казнь типа. По условиям, после того, как публика ахнет, меня должны снять с виселицы и объявить, что все это было постановкой. Но было тяжелое предчувствие, чувствовалась ложь организаторов. Показалось, что они реально хотят повесить. Пришли друзья, сказали, что я зря вписался в подобное мероприятие. Шепнул им, чтобы подстраховали, если вдруг никто не рванется снимать меня с виселицы, чтобы они сами быстро сняли. Затем стало ясно, что могут не успеть, веревка придушит слишком быстро, подошел к организаторам и сказал, что отказываюсь участвовать. Они показали контракт, что в случае отказа я должен выплатить большие деньги.

[9 февраля.] Снилось, что нахожусь на архиерейской службе. Подхожу к архиерею со сложенным стихарем и прошу благословения. Он крестит и сам начинает громко петь «Возрадуется душа моя о Господе».

[11 февраля.] М. через медиума связался с недавно ушедшим и задал ему вопрос о моих черных птицах. Тот ответил, что птицы связаны с разрывами пространства. Они как бы швы, по котором пространство либо сшито, либо трещит.

Письмо М.К.:

«История занимается событиями и их причинами. А события — разрывы или застывания ритмических конструкций, событие случается на фоне гибели ритма, еще

недавно жившего как самосушность. Эти ритмы можно выискивать в песнях трубадуров, молитвенных шептаниях или эстраде 80-х. Отчасти в текстах, костюмах, картинах. Но не в событиях. День и ночь человека проходят не в событиях, а в тихом внутреннем звучании. Событие отвлекает человека от ощущений. Хронология — разбрасывание событий по временному натяжению, которое толком не ощущается, и принимается из неизбежности. В этом натяжении нет строгого разбрасывания ритмов, и возвращаться «туда» вполне реально. Только ты не станешь свидетелем событий, а сможешь побывать внутри себя, там и тогда. Это действительно там и тогда!

Кажется, что подобное «возвращение» беспомощно и лишь созерцательно. Не намного более беспомощно, чем существование сейчас. Ты не можешь ничего сделать в плане создания события, а в плане ощущения жизни можешь. Те события, которые ты можешь создать сейчас, образуют ограниченную территорию доступного, и явно не они составляют внутреннюю свободу человека. (не возможность что-то сделать, а сама данность быть сейчас) Блуждание по памяти или блуждание по квартире — где больше свободы? В том-то и дело, что настоящее — это не ощущение момента, а клубок ритмов, включающих и ритмы, живущие внутри памяти, и визионерские выбросы, и страх смерти, и небесные песнопения. Находиться в настоящем — далеко не быть в навязываемой окружающим миром актуальности, а просто «быть» и слушать. И в этой точке история кажется особо жестким типом мышления. Как нанизанные на нить засохшие ягоды событий и аргументов типа «это произошло потому, что...», а это не происходило, потому что события еще не происходили,

они произойдут, когда созреет ритм. Здесь историки исхи-
тряются и, осознавая, что их наука превращается в набор
«утекших причин», вводят циклы и повторения. Чтобы
подкрутить то, что совсем неясно: временное натяжение.

Хорошо. Настоящая история не занимается событиями и
их причинами, а занимается именно ощущениями и тела-
ми культуры. И актуальная ее проблема — синхронизация
ощущений «сейчас» и «тогда». И временное натяжение —
лишь формальный фон, в котором можно описывать ощу-
щения. А события там столь же малозначимы, как и внутри
медитации. Революция случается, когда уже случилась,
когда она очевидна и война выигрывается в «момент»
наибольшего ритмического разрыва, который на деле не
«момент», а свойство самого ритма. Внутри любой войны
уже заложена победа. Если история занимается клубками
ритмов, а не событиями, то она занимается тем же, чем и
философия или математика. И дальше вопрос выражения
«открытия». А этот вопрос не так уж важен.

Я был в Пскове в 50-е годы, ходил по дворам, прислуши-
вался к звукам, и ощущал их детально, видел предметы
быта, стены, шторы, окна, если бы спросил у бабушек, си-
дящих около дома, какой сегодня день, они бы ответили
«ну как какой, вторник».

Как это произошло?

В ночь с 4-го на 5-е января 2017-го года что-то случилось.
Был жуткий холод, пробирающий мороз. Я оказался в де-
ревне не на уровне созерцания, а на уровне сущностного
соприкосновения.

Есть видимое как поверхность, по которой скользит взгляд, а есть видимое как действующее, проникающее во внутренность. И оно сознается как часть «смотрящего я».

В ту ночь я оказался в деревне не как внешний наблюдатель, а как само содержание. И не продвигался по видимому, а существовал в себе.

Там не было людей. Не было собак, птиц, действие проходило через данность как таковую, через «это есть», а не через то, что просто замечается.

И после «этого», я перенесся в Псков. Там был ряд желтых домов-бараков, висящее на веревках белье. Во дворах играли дети и присутствовало общее журчание спокойной жизни. То, что это 50-е годы, осознавалось само по себе.

Зашел в один из бараков, в квартиру. Там были бабушка, дедушка и маленькая мама. Ощущал присутствие мамы в возрасте, при том, что она показывала себя маленькой. То есть, мама была в разных временах одновременно.

Понял, что не сплю, а нахожусь в слое и могу задать вопросы. Спросил у мамы и дедушки, какого соответствия сущности они хотели бы от меня. Дедушка рассмеялся, а мама сказала, что никто, ни она, ни Игорь не ответят на этот вопрос.

В общем, у нас никакого Игоря в родственниках не было, насколько помню.

Утром позвонил маме и рассказал об увиденном, спросил, что за Игорь. Мама замолчала, затем удивленно ответила, что был там Игорь, но это как неприятный момент истории, о которой не вспоминают.

Там же жила тетка. Замужем она была за Игорем — деревенским парнем, пастухом, перебравшимся в город и не особо себя нашедшим. Тетка поехала отдыхать на море, от работы получила путевку в санаторий, а Игорь стал копить деньги, ничего не есть, чтобы купить ей подарок. Тетка на отдыхе с кем-то загуляла, вернулась, получила подарок от голодного Игоря. Вскоре ее история вскрылась, Игорь пошел в ванную и повесился.

Покойник дядя Игорь — мой друг.

Е. спросил, что нам надо сделать, чтобы построить храм. Ответил ему, что для начала нужен епископ, чтобы благословил и передал нам особый платок. Давай найдем епископа? Он с нами не станет разговаривать, скорее всего. А если и станет, и даст платок, и мы построим храм, придется этот храм беречь всю оставшуюся жизнь, это большая ответственность. Храм нельзя бросать, он как ребенок, надо растить и заботиться, пока сам не умрешь. Есть еще вопрос воли, и он оказывается решающим. Должна быть воля строительства храма. Не причина, причина здесь очевидна, ты можешь сказать, что обошел все места и не нашел своего храма, а воля к действию. Е. сказал, что мы можем найти епископа и просто с ним поговорить,

а там видно будет, стоит ли брать ответственность. Он спросил, общался ли я с епископами. Ответил ему, что не общался и лишь однажды был на архиерейской службе.

Это было летом. Вчетвером поехали на север, до озера. По дороге И.Т. рассказывал, как сидел в тюрьме, он там пробыл всего восемь лет. Д.А. спросил И.Т., что со мной стало бы в тюрьме, И.Т. ответил, что все было бы хорошо, главное — считать надписи на небе. Когда надписей нет, значит — ночь. Мы ехали, трое друзей рассказывали о былой жизни, и казалось, мы едем не на архиерейскую службу, а везем кого-то в багажнике в лес, но по трепету это должно быть близким, чем-то крайним, лес и есть лес — то, что за привычной жизнью, окраина, отброшенность.

Добираться до острова надо на парохоме. Рядом оказались бабушки в платочках с молитвословами, подальше — смиренные бородачи. Меня укачало волнами, показалось, мы не плывем, а летим, и летим на суд, не на земной и может не на небесный, а на какой-то другой. По-едем вместе вчетвером, и будем отвечать за весь кошмар.

На западе когда-то были игры в епископов. Ребенку давали епископское одеяние и наделяли полномочиями на короткий срок. Он ходил по городу с другими детьми, тоже нарядившимися как священники, и благословлял людей.

Столько охраны никогда не видел. Несколько кругов, и еще хмурые четкие люди, присутствующие-перемещающиеся, прогуливающиеся по дворам. Крепкие, аккуратно подстриженные, спокойные. Затем подъехали две боль-

шие черные машины, оттуда вышел патриарх. Вышел и тут же скрылся за воротами.

Ощущение сложной выверенной церемонии. Алтарники подходят к крепким светским и что-то шепчут, складывается впечатление, что они из одной структуры. Священники кадят в разные стороны, сохраняя симметрию в движениях, все жестко и четко, внутри церкви тоже несколько слоев охраны, оглядывают всех собравшихся, когда проходит архиерей со свитой, аккуратные люди в черных костюмах отгораживают собрание, переговариваясь между собой по встроенным рациям. Четкие люди заходят также в алтарь. Не выдержал, спросил одного из них, неужели это патриарха так охраняют. Он ответил, что нет, чисто чтоб безопасность была, всех нас так охраняют.

Симметричное каждение и торжественность. Местным монахам не протиснуться в первые ряды, они стоят у стен с четками и неподвижно смотрят на происходящее.

Присутствие прошивает все пространство. И где находятся границы священного — не столь важно. И момент различения не столь важен. Священное не утверждается через наше различие, оно присутствует как забота.

Итак, нужно повторить истории и сюжеты.

Некий волшебник подводит к мутному озеру, на дне которого покоятся тела, и говорит, что может их воскре-

силь, от меня лишь требуется жест разрешения. Даже никакой видимой ответственности. Хотя ответственность, конечно же, есть.

Мы выезжаем с дядей Колей ночью на рынок магических птиц. Птицы лечат от разных болезней. Их подбирают как лекарства. Лекарь изучает больного, дает ему наставление, каких птиц купить и как о них заботиться. Что-то происходит и меня, лежащего на подстилке, тащат птицы в другом направлении.

Истории кладбищенских птиц, которые видят не только памятники и конфигурации могил, стоящие сейчас, но и те, которые будут. Движение происходит через сосуществование «сейчас» и «не-сейчас».

Мы приезжаем в «город» — место явно неправильного строения, откуда видно то, что не может быть видно, так объемно невозможно смотреть, и ждем гостей. Гости приходят по очереди и рассказывают мои тайны, проведенные через всю жизнь, словно они были свидетелями.

Возвращение домой не с той стороны. Через незнакомые станции, за которыми находится дышащая тишина.

Вчетвером едем в церковь. Я сижу сзади слева. По дороге случаются остановки. Приезжаем на пустырь и показываем ангелу спектакль.

Разглядывание проведенного ритуала через зеркала. Блуждание против солнца для проникновения в память.

За кладбищем находится река и речной порт.

Еще встреча с колдуном, само собой.

Храмы закрыли из-за вируса. В воскресенье в 10:05 написал священнику, спросил его, началась ли невидимая литургия сегодня. Возможно, ритуальная жизнь не останавливается, просто скрывается. Уже прошла проскомидия, прочитали записочки, дьякон покадил внутри алтаря, священник уже дал возглас, царские врата распахнулись. Он ответил про разрушенные храмы, что там могут служить ангелы. Богослужения не останавливаются, происходят как и раньше, просто становятся невидимыми для людей. Если пробраться в закрытый храм, можно разглядеть еще не осевший дым и легкие движения внутри него, почувствовать запах ладана и услышать легкое пение. Подглядывать за ангелами интересно и тревожно. Можно представлять, как проходит в данный момент служба, выносят ли они Евангелие, свечи, как перемещаются, что поют, меняют ли цвета облачений на разные праздники. Скорее всего у них другие годовичные и седмичные круги, и другие праздники. Или вообще не праздники, а зоны внимания, зоркости. Сегодня служим с особо ярким зрением, например, завтра с интонациями легкости, послезавтра с новым воодушевлением.

Закрыли Москву.

Нас тоже уже закрыли. Утром пошел снег. Во дворе никого. Пушистая земля и тишина. Смотрел в окно и не верил

глазам, как такое могло сложиться, как мир смог перестроиться за несколько недель. Вскоре появились трое: в шубах, тяжелых шапках, с лыжными палками и сумками, — подошли к мусорному баку, обступили его. Движения медленные, текучие, они как плавающие черные комки на белой простыне.

О. попросила зайти в аптеку по дороге, я сказал, что зайду, там аптеки почти в каждом доме и дома стоят полукругом, можно найти без проблем. А когда вышел, понял, что не знаю, где искать, и уверенность, существовавшая мгновение назад, исчезла, расположение домов изменилось — никакого полукруга. Я не знаю район, в котором живу, и путаю его с районом детства. Они склеиваются как подвижные орнаменты якобы в воспоминаниях, хотя внутри памяти и опыта их нет, они движутся в своих ритмах. Удивительно то, как быстро изменилось восприятие местности, как быстро ушла одна уверенность и появилась другая. Еще интересно, что я запомнил момент щелчка, меняющего восприятие расстановок домов. Появилась легкая растерянность и неважно, сколько она продолжалась, из пространственного ощущения выбили опору. Вскоре после этого, днем, случилось также непривычное: тело начало дрожать, ноги подкашиваться, стало трудно дышать. Я сел на пол, обхватил и прижал ноги к груди. Голова не болела, более того, была определенная ясность и свежесть, казалось, что воздух слишком свеж и я дышу чем-то излишне чистым.

Когда уснул, увидел во сне сад, построенный полужнакомым человеком. Он водил по этому саду, а я говорил, что это красиво, хотя это было некрасиво, просто не хотелось его расстраивать. Искусственные цветы и змеи, какая-то люто безвкусная смесь, извилистые дорожки. Человек повторял, что построил это ради денег, чтобы водить посетителей и брать с них плату. Это не красиво, это реально клиническое искусство, больная архитектура. В один момент я оттолкнулся от земли и полетел. Он полетел рядом и стал комментировать то, что мы видим, а мы увидели реальных змей, больших птиц типа фламинго, настоящие сады и побережье.

Здесь интересен искусственный и странный коридор. Он похож на клумбы под окнами в старых домах, с плюшевыми игрушками, облезшими от дождя и снега, с натянутыми пластмассовыми цветами. Приходишь невесть куда, тебя ведут по этому коридору, ты поражаешься несуразности видимого, а затем оказывается, что «за» ним стоит возможность и свобода.

Бывают такие полустанки с сумрачными персонажами, картинками, лампочками, плоды болезненных инсталляций, с уложенной плиткой, местами наблюдения. Там надо проводить ритуалы, а какие — никто не знает, готовится пространство само по себе, как можно безвкуснее и страшнее, чтобы даже если птицы залетали, пугались неопределенности.

Те места, что виделись сверху, узнаваемы. Но не сейчас, а тогда. Когда смотрел на них, узнавал — они казались знакомыми. И скорее всего это были места реки и речного

порта, те самые, что раскрываются за кладбищем. Можно предположить, нелепо украшенные клумбы были могилами, и там, с помощью воли происходил выход в иное — в парение над берегом. Береговая линия начиналась за извивающимися змеями, еще виднелась сетка типа спортивной, ограждающей стадионы и корты, а после преодоления этой зоны раскрывались стоящие на берегу птицы.

Сколько пытаюсь вспомнить «те места» и соединить с местами реальной памяти. Есть окрестность домов-баров, рядом с речным цыганским поселением, в которое мы часто заходили в 94-95-м, есть берег в А., недалеко от костров, и такое чувство, что они склеились в одно, совместились как в видео-редакторе. Получились «те места». Появилась возможность посмотреть на них сверху, подлетая над ними и разглядывая детали. Опять же, детали — не раскрытые фрагменты на берегу, а некие зоны протяжности.

«Те места» могут оказаться вообще результатом склеек, совмещений, наслоений, проступания. Все береговые линии накладываются друг на друга, образуя нечто воспринимаемое. Если так, то они важны лишь в кратких посланиях, в обозначениях, а не в конфигурациях. «Те места» — метка, внутри которой можно воспринимать и мыслить.

Ваня рассказал про недавний сон. Он увидел систему ветвящихся лестниц. И внутри этой системы присутствовала возможность прожить заново любое свое воспоминание, но за это нужно было заплатить: как только оно заново проживалось, оно навсегда стиралось из памяти.

Лето проживается как едкий парализующий волю дым. Вдохнул и залил сознание его липкостью, и теперь он везде, во сне, в мышлении.

Летом в окнах появляются неподвижные люди. У них голые сверху тела, смятые и отвисшие, они смотрят в оставившийся воздух. Часто рядом с ними коты, а бывает и не рядом, а на голове или спине. Человек и кот проживают лето. Ощущение, что в каждом доме сидит по такому человеку и коту, если перемещаться по дворам и наблюдать за окнами, окажется, что они скрепляют пространство своими взглядами, как паутиной, и сидят они не просто так, а придерживают летний покой. Кот сидит на голове и управляет человеком.

Лето я переживаю с трудом, практически каждое. Лето проходит в напряжении и беспомощности. Вспоминаю лето, мне лет шесть, мы стоим на лестничной клетке рядом с квартирой и собираемся выйти на улицу. Через окно в подъезде вижу двор и некий зной, хотя там явно не жарко, этот зной задает неприятное ощущение, становится очень неудобно. Даже неважно, куда мы пойдем и когда придем, это лето. Это нельзя изменить сейчас, можно лишь выждать, когда само изменится. С тех пор каждый раз жду, когда оно закончится и можно будет снова полноценно существовать.

Мы приехали на пустырь. Вчетвером. По дороге укачало, от тошноты размазало голову, последние минут двадцать уже

ничего не понимал, кто шутит, кто смеется, что с открытыми, что с закрытыми глазами — все слилось в текущий бред.

С. достал из багажника железный прут, протянул мне, сказал, что двадцать лет назад была такая же погода, такие же ощущения, кажется, что это было не тогда, а происходит сейчас, и за эти годы ничего не произошло. Не надо бить по воздуху, здесь присутствует невидимый зритель, мы можем его задеть. Мы сейчас как песок у него в глазах.

Мы встали около края и стали разглядывать прошлое, людей-собак, бегающих и здесь, и там. Кто-то почеловечески одетый, как работник, побегал и заплескался в лучах. Если это оборотень, то странно, что так явно и активно. Обычно они крадутся и не наслаждаются.

Осенняя птица за окном монотонно звала разбросанные души на общее дело, на утреннюю службу. Как колокол. Видел сон во сне. Старая квартира, ложусь спать, засыпаю и погружаюсь в слои с осязаемыми персонажами в воздухе, они пугают своим присутствием, вскакиваю, иду в другую комнату и вижу, что на полу спит дедушка. Он только что откуда-то вернулся. Затем во сне рассказывал этот сон, представляя движение системой покрывал. Держал покрывало за концы, показывая, как можно меняться.

А после этого увидел кладбище и похороны. Осознавал, что это мои похороны. Была небольшая процессия, мы

ходили, искали могилу, затем пришли к небольшому обрыву. Я смахнул песок с надгробия, крикнув всем, что здесь. Затем посмотрел с другой стороны, там была фотография какой-то женщины. Сказал ей «извини, соседка, ошибся», подошел к другому надгробию. Такое чувство, что под обрывом текла речка. Ну, что? Внутри все заколотилось. Было волнительно, но не страшно. Присутствовало некое предвкушение и трепет. Предстоит путешествие на американских горках, которое захватит дыхание. Проснулся под звуки сильного дождя. Дождь за окном стоял плотной стеной. Редкий случай, когда после сна о кладбище днем не болела голова.

Зашла собака, у которой горела, но не сгорала, шерсть на теле. Начала обнюхивать вещи. От нее свет как от яркой лампы.

Парение и разглядывание местности, но не описание перемещения.

Причина тому — непрерывная сетка, создаваемая птицами.

Если вернуться в увиденному свертку с изображением царей. Неужели это десять мертвых царей.

Неврастенические игры: классификации, поиски причин-следствий, перечисления взглядов.

Неврастенический жест смывается как пленка с тела или соскабливается как грибок.

Взамен нужно что-то оставлять, иначе начнется зуд, как при содранной коже.

Разжеванная и выплюнутая смесь. Перечисление типов — потакание неврастении.

То, чем часто заканчиваются сны человека — захватывающим дыханием падением с высоты, с этого начинаются сны птиц, только они не пробуждаются в ужасе от приближающейся земли, а плавно садятся и продолжают сновидческое движение дальше.

Во сне меня кто-то держал за руку. Я не мог разглядеть, кто это. Затем услышал голос «когда-то твоя рука была совсем маленькая», посмотрел и увидел маму. Как будто ей было лет тридцать на вид. Сказал ей, что эти слова меня ранят, я сейчас заплачу, не надо продолжать. Еще там была некая историческая актуальность и время проживалось потоками.

Из переписки с М.К. Воля — утверждение своей бытийности. Есть интересный момент во снах — воля к пробуждению. Ты заявляешь себя и выходишь наружу. Историки странно смотрят на слово «было». Похоже на стену между живыми и мертвыми. Воля у них не может касаться «было». «Было» зацементировано. М.К. сказал, что воля была придумана как орган будущего, по аналогии с памятью. Собственно, Августином. И воля не влезает на территорию «было», как и будущее не влезает в прошлое. Ты заявляешь себя для будущего, а не прошлого. Мне кажется, существуют утверждения себя, пронзающие границу «было».

Видел во сне место, откуда шла дорога на кладбище, по правую сторону, а слева стояло здание с высокими ступенями. Я снял обувь и поднялся наверх. Там сидела женщина с бумагами, похожая на секретаршу или бухгалтера. Она на меня даже не посмотрела, но спросила: «правда ли, что в некоторых храмах во время чтения шестопсалмия не принимают записки?» Ответил ей, что спрошу у друга священника. Там был огромный дверной проем, и через него виделась комната, где сидела эта женщина, а справа открывался вид на кладбище. Подумал, что она, наверняка, мыслит меня мертвым. Крикнул ей, что я — живой. Затем вернулся вниз и пошел по местности. Мне нужно было зайти на кладбище, но становилось темно и возникало ощущение, что лучше туда в такое время не идти. Вечерняя темнота проступала в небе, а кладбище окутывалось светящимся туманом. Похожее видел в каком-то кино про чернобыльский взрыв, там показывались сверкающие облака. Или, когда фотографируют издали всякие звездные скопления. Оказалось, забыл обувь у того здания, и иду босиком. Тем более не стоит направляться в белую перетекающую пену.

Днем поехал на электричке в то место, что видел во сне. Вышел на станции, посмотрел по сторонам и не увидел людей. Никто больше не вышел. Пришел на кладбище. Оно было мокрым, тихим, тоже без людей. Земля — память. Идти босиком по земле — касаться памяти. Если невдалеке слышался шорох, движение, это оказывалась птица или ветер. Показалось, что нахожусь в тех же ощущениях, что всегда, воспринимаю запахи, будто мне несколько лет, знаю всю эту сырость и покой как нечто внутреннее. Шел и не понимал, закончился ли сон. Зашел в

церковь. Старушка стояла около южных врат, и еле слышно читала часы. Ритмически шептала о жизни на земле и на небе.

Робкое звучание тьмы, внизу, в разбитых лестницах. Мы поднялись на один из верхних этажей, туда можно ходить лишь когда светло, чтобы не разбиться. Гигантское шипящее тело, с дырами и ветром. Это бывший санаторий, один из крупнейших в стране, в нем разбито все, когда перемещаешься, слышишься не только здесь, но и разносишься как эхо по кожным порам разлагающейся ткани. На стенах надписи, рисунки, короткие исповеди. Кто-то пришел сюда и рассказал о своей жизни и желаниях. Зачем писать на стенах названия музыкальных групп, если можно написать о себе. Каждый раз, когда бываю в таких местах, представляю, как тридцать лет назад по этим лестницам ходили люди, принимали ванны, сбрасывали усталость. Сюда было не попасть просто так, ты должен был быть богатым, успешным или даже приближенным к власти. Наверняка здесь было много и болезненного, и приятного. Все это хранится в зудящей памяти этого шелестящего монстра. Прислониться к любой цельной стене спиной и головой, направить слух в сторону общего шепота — и можно все это увидеть.

Повсюду раскошенные стекла. Взять любой этаж, любое место, посмотреть под ноги — увидится битое стекло. Огромная витрина лопнула и раскрошилась. Разлетевшийся калейдоскоп, собранный когда-то из

глазных хрусталиков. Любое перемещение по коридорам сопровождается хрустом под ногами.

Мы встали на раскрытом этаже. Когда подходил к обрыву, внутри появлялся озноб, трясло от высоты и отсутствия какой-либо страховки. Лишний шаг и ты рухнешь, с воплем полетишь, цепляясь плотью за вылезшие колючки — железные прутья. Отошел на пару метров — так тоже все видно. Бесконечная лесная поверхность, покрытая белой пенкой, розовое небо, перетекающее в желтизну, и кусок города. Мелкая улица, водонапорная башня, дымящаяся труба, красно-оранжевое здание, а за ним купол церкви. Ни одного жилого дома. Ни одного человеческого силуэта.

К. махнул головой, показал на бледную пленку над лесом, сказал, что она похожа на плесень. Если взглядеться, раскроется ее движение, она все ближе и ближе подбирается к нам. Ответил ему, что он бредит. Нет, она подкручивает видимое и расширяется. Как проказа. Она уже покрыла почти всю реальность, скоро подойдет и поглотит нас. Она забирается в сознание и истощает его, высасывая из него жизненность. Хорошо, что мы ее видим. Надо держать оборону. Еще раз сказал ему, что это бред. Если бы мы сейчас стояли на земле, можно было бы поиграть в такую игру: оборону от надвигающейся бездны, а здесь слишком опасно, и без того трясет от высоты.

К. спросил, болел ли я гайморитом, делали ли рентгеновые снимки пазух. Когда делаешь снимок, надо раскрыть рот, прислониться им к вертикальному листу и не дышать. Так и с теми, в кого забирается та белая пенка, они подходят к стенам, прислоняются ртами и молча вопят.

Врачи говорят, что это шизофрения и прописывают большие порции нейролептиков. Может это снег над лесом? А почему он так движется: не падает вниз и не тает, а вьется как кружево и разрастается. И звучание слишком подозрительное, снизу кто-то напевает.

Сказал ему, что нам надо спуститься, здесь реально опасно. Он ответил, что не надо нам никуда спускаться, мы встретим эту бледную сущность готовыми. Посмотрел сверкающими глазами в мою сторону, показывая, что придумал что-то. Еще раз повторил, что нам лучше спуститься, подошел и дернул его за плечо. Ты ничего не понимаешь. Да, ничего не понимаю. Ты ничего не понимаешь. Что я должен понимать. Я могу сейчас долететь до той церкви и мне ничего не будет. Мне стало страшно. Он сейчас расшатан, я стал винить себя, что согласился сюда идти, надо было предположить, что все может так обернуться. Понимаешь? Что? Что? Что я должен понять? Что ты сейчас прыгнешь и растечешься кишками по асфальту внизу, ты пойми, что эти ощущения ложные, никуда ты не долетишь. Он подошел ближе и рассмеялся. В серой приглушенности разглядел на его лице слезы. Просто я тебя прошу, пойдем отсюда. А зачем мне таким быть? Каким? Ну вот таким, больным. Да нормальный ты. Какой нормальный, у меня нет зубов. Я тебя очень-очень прошу, пойдем отсюда. Я прижался к стене и тоже заплакал, тело задрожало еще сильнее, чем при ощущении высоты. Просто выполни одну единственную мою просьбу, в знак того, что ценишь все наше прошлое общение, одну просьбу: сейчас аккуратно спустимся вниз, пойдем, прямо сейчас, не надо спорить, я ничего не понимаю, ни про проказу, ни про то, как летать.

Мы встали рядом, я вгляделся в розовую полоску над лесом, показалось, что это плод жертвоприношения. А дальше уже зима, свежесть. У нас весна как зима. Зима больше похожа на память, чем остальное время, она сыра и беззвучна, ничем не пахнет. И то проеденное плесенью покрывало над видимым можно игнорировать, оно далеко, а когда приблизится, мы уже уйдем отсюда.

Мы зашли в церковь. К. подошел к иконам сначала около одной стороны, затем другой, и, еле заметно, покивал им. Было похоже на то, как человек приходит в чей-то дом, обходит жителей и здоровается. Царские врата были открыты, К. спросил, можем ли мы в них зайти. Не можем, даже священник редко заходит, во время службы в определенные моменты. А почему они открыты? Сейчас Светлая седмица, они открыты как ворота в рай. Тогда можно зайти? Без полного облачения даже священнику нельзя, только архиерею. А что будет, если я зайду? Ангелы удивятся? Приколются, да. Проклянут? Никто тебя не проклянет, не ищи здесь магическое вообще, есть твое намерение и его чистота, если ты сам хочешь это сделать из прикола, получается, что это насмешка над священным, а если ты чувствуешь, что это необходимость, и эта необходимость сияет внутри тебя как солнце, то не знаю, только подумай, что придется не только зайти, но и выйти обратно, или ты готов там остаться навсегда? Показалось, что я говорю лишнее, он понимает все лучше меня, стоит, трясется худым телом и черным лицом, разглядывает открытый рай, наверняка видит его обитателей. Пусть

делает, что чувствует. У него глаза слезятся и блестят, он хочет зайти и раствориться. Почему иногда ворота закрываются? Как глаза на ночь, как цветы. Это драматургия возвращения, кругового движения, дыхания. Ты моргаешь глазами, сбрасывая усталость. Один раз увидел во сне заброшенные храмы и жертвенники, затопленные водой. Вода стояла по колено, вполне можно было перемещаться и различать. Алтарь никуда не делся, он остался существовать как непрерывная цепочка, сотканная из молитв. К. спросил, зачем облачаются. Это «новая одежда» души. Ризы спасения, как у пророка Исайи. У нее разные цвета, в самую тайную ночь эти цвета проматываются. История возвращается и рассказывается через смену цветов. К. спросил, когда начнется. Да уже давно началось.

[Письмо 26 апреля 2009 года.] 3-го февраля 1895-го года. Сошествие нового града Иерусалима. Можно отыскать это дело в книге Бондаря и записках Бонч-Бруевича. Книга С.Д. Бондаря называется «Секты хлыстов, шалопутов, духовных христиан, Старый и Новый Израиль и субботников и иудействующих», издана в Петрограде в 1916 году, Бонч-Бруевич же посвятил Новому Израилю 4-й выпуск своих «Материалов к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества», издан в Спб в 1911 году.

Четыре мистерии лубковцев:

1895 г. Первое содействие: «Сошествие града Иерусалима на землю»

1900 г. Второе содействие: «Нагорная проповедь»

1905 г. Третье содействие: «Благодатный закон»

1907 г. Четвертое содействие: «Сион».

Перформативность и сила теряется от содействия к содействию. Первое содействие — ожидаемый шедевр, с ролями «апостолов», «евангелистов» и т. д. Второе содействие сопровождается 5-часовой проповедью Лубкова. Около тысячи участников.

Только у них все это происходило не в городском дворе. И они не ждали, а вынуждали. Лучше запастись терпением и дожидаться.

Поймали машину. Никто не хотел останавливаться и подбирать незнакомые темные силуэты, а эта остановилась, водитель махнул, чтобы мы садились. Поехали. Играло радио — популярные песни. Водитель в начале каждой песни производил едкий комментарий, объясняющий, что этот певец никому не нужен и что песня похожа на испражнение, мы все молча выслушивали эту песню, а в начале следующей все повторялось. Он не просто эмоционально высказывался, но и аргументировал, видимо, знал всех этих исполнителей, разбирался в деталях их творчества. Его было интересно слушать — он как радиоведущий, только честный. Причем комментарии оказывались разнообразными. Через песен пять уже поймал себя на мысли, что жду, чтобы поскорее закончилась песня и началась новая, хочется выслушать его мнение.

Секунд за двадцать он проговаривал будто подготовленный заранее текст, а затем замолкал. Брат, ты реально ценный музыкальный критик. Он подумал, что я издеваюсь, недовольно зыркнул. Нет, нет, серьезно. Четко, емко, по болевым точкам, ты мастер единоборств, за секунды уничтожаешь противника, наверное, ты сам музыкант. Нет, не музыкант. Мы погрузились в молчание, началась следующая песня, он ее никак не прокомментировал. Даже пожалел, что все это высказал и сбил его рассуждения. Сам попробовал прокомментировать звучащую песню, но получилось нелепо, совсем не так как у него. Но это его рассмешило, он продолжил, и высказал про эту песню то, что трудно заметить. Сказал ему, что мне в эстраде не нравится одежда. Есть приятная эстрада, она касается воспоминаний, слушаешь и возвращаешься, оказываешься в маленьком кафе в 85-м году, сидишь, ешь мороженое. Итальянские песни, например. Челентано, Тото Кутуньо, Сан Ремо.

Мы выехали на узкую дорогу, оттуда до города не так далеко, дальше начнутся разбитые дачи, разоренные огороды, болото и дым. Сказал, что здесь неподалеку когда-то убили моего друга, никто так и не узнал, кто это сделал. Наверняка вывезли в багажнике, как обычно. На этих словах с глазами водителя что-то случилось, он резко заморгал. Мошка попала в глаз? Притормози лучше, протри глаза. Он резко затормозил, запрокинул голову, продолжил моргать, затем сильно закрыл глаза, сжав мышцы лица как бульдог. Надо водой промыть, есть вода? Он раскрыл глаза, они в том освещении показались багровыми, заплаканными. Не три руками, и без того все красное. Он посмотрел на заднее сиденье, на К., затем на

меня, и тихим голосом, не похожим на то, что мы все это время слышали, очень вежливо, попросил нас выйти. В смысле? Прямо здесь? Да, прямо здесь. Ладно. Мы вышли.

Он уехал. Мы остались стоять и смотреть ему вслед. Идти здесь километров пять, дойдем, не проблема, но что с ним случилось? Мы пошли вдоль темной дороги, держась обочины. Вспоминали его едкие комментарии по поводу песен. Ценный критик, его почему-то перемкнуло в тот момент, словно в него кто-то другой подселился через мошку в глазе. Представь себе, как некое большое сознание прикреплено к мошке, летает и ищет, как проникнуть в тело, и может это сделать только через глаз. Куда он поехал сейчас? Поехал проводить ритуал изгнания, чтобы снова превратиться из человека со слезящимися красными глазами в уверенного музыкального критика.

Какая хорошая весна. Как и зима. Свежесть наполняет каждую песчинку тела, воздух подсвечивается, небо покачивается как перевернутое море, дорога нас отвлекает шепотом и прикрывает лица, чтобы мы не ослепли. Все нас берегут.